

# Николай Гайдук



Царь-Север

# Николай Викторович Гайдук

## Царь-Север

*Текст предоставлен правообладателем*

*Царь-Север: Ростов-на-Дону; 2005*

*ISBN 5-7509-0275-7*

### Аннотация

Самобытный сибирский писатель Николай Гайдук, обладая богатым жизненным опытом, создал произведение, интересное широкому кругу читателей. Роман написан «уютным», доверительным и оригинальным языком русской классики. Неожиданные, а подчас невероятные сюжетные ходы, многоплановость повествования Н. Гаидука позволяют говорить не только о добротном увлекательном романе, но и о своеобразном учебнике жизни с ярко выраженной авторской позицией.

География романа – Кольский полуостров, Якутия, Таймыр, Центральная Россия. Борьба за чистоту родной земли, приключения, опасности, любовь и упорный поиск нашей далёкой древней прародины Гипербореи – вот что движет главными героями, жизненные пути которых мистическим образом переплетены, а сердца и души отданы великому, царственному Северу.

# Содержание

В поисках гипербореи. Размышления о творчестве Н. Гайдука	4
Книга первая	15
Колдовское	15
Ветер	57
В гостях у Полярной звезды	93
Божий промысел	130
Царёк-Северок	163
Путешествие к сердцу	247
Конец ознакомительного фрагмента.	277

# **Николай Гайдук Сияние верхнего мира. Царь-Север**

## **В поисках гипербореи. Размышления о творчестве Н. Гайдука**

Настоящая литература подлинного художника-автора проявляется сразу – с первых слов, с первых предложений. В неё погружаешься как в целебный источник, расставаться с которым долго не хочется. Возвращаешься к прочитанному, по несколько раз тщательно осмысливая происходящее, сюжетные ситуации и авторские отступления. Но страницы тают – одна за другой и «золотая точка» неминуемо приближается. Ну, вот и всё, конец. Праздник души и разума кончился. Пылающие эмоции постепенно гаснут, затихают, и на сердце становится очень грустно как после утраты своего самого дорогого и сокровенного. «Будь славен дар творца!» – невольно говоришь себе и молишься о ниспослании новой встречи.

Такие чувства пришлось пережить при знакомстве с но-

вым романом Николая Гайдука «Сияние верхнего мира или Царь-Север». Повествование действительно пленяет сердце и разум с самого начала, с первых строк. Водоворот авторской фантазии завораживает тебя, неудержимо влечёт за собой, и ты не просто плывешь – ты летишь через пороги, отмели и перекаты. А то вдруг поднимаешься в небесную синь над изумрудным снежным простором – навстречу фантаσμαгорически алому сиянию Севера. Такова неодолимая сила колдовской авторской стихии. И в памяти невольно звучат слова из песни В. Высоцкого: «Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!» Чтение романа Гайдука – это действительно какой-то гибельный восторг, потрясение и невольные слёзы. Те самые слёзы, о которых Пушкин говорил: «Над вымыслом слезами обольюсь». Вопрос только в том, где тут вымысел, а где тут жизненная, невероятно крутая правда?

Прежде всего, хочется особо выделить и подчеркнуть изобразительную мощь писателя. Николай Гайдук невиданно силён именно в этом, и на сегодня трудно найти ему равных в нашей литературе. Может быть, где-то в лучших своих произведениях с ним равняется В. П. Астафьев, но при всём уважении к классику нужно признать – только равняется. Николай Гайдук идёт дальше и поднимается гораздо выше – навстречу «сиянию верхнего мира». И не случайно почти двадцать лет назад наш выдающийся литературный критик В. Я. Курбатов вынужден был отметить: «Послушайте

пейзажи Гайдуга и, даже не зная, что он «по первой специальности» поэт, вы догадаетесь об этом по невольному сбегаящимся созвучиям... Для Николая Гайдуга характерна пьянящая музыка простора и слова...» Это – цитата из предисловия к первой книжке Н. Гайдуга «С любовью и нежностью». Книжка напечатана в 1988 г. За это время у автора вышли сборники стихов, отмеченных недюжинным талантом, романы: «Волхитка», «Святая Грусть», которые изданы в нескольких странах мира. А сколько неизданных произведений лежит в столе у автора – ему одному только ведомо.

И вот появляется новый, грандиозный роман «Сияние верхнего мира. Царь-Север». Гайдук «заматерел», уверился в себе, рука стала крепче, его фантастическое воображение вышло на режим свободного полёта. Но в главном он по-прежнему верен себе. И опять следует до сих пор невиданный каскад его потрясающих поэтических отступлений-описаний. И это можно слушать, смотреть, восхищаясь, писать кистью, перекладывать на музыку, снимать на кино и видеопленку, имея в наличии, как минимум, авторское зрение, а в придачу – душу и мозги художника-автора.

Потрясающе чудно, зримо и звонко звучит зачин романа, затем следуют ряд за рядом великолепно исполненные эпизоды и сцены, целые рассказы и повести. И во всем этом чувствуется уверенная рука Мастера высокого класса, могучая воля и богатейший «развал» творческой палитры Н. Гайдуга. Он свободен в полёте своего воображения. Кажется, та-

лант художника, укреплённый громадным опытом, вот-вот может перейти границы «дозволенного» – границы того, что отпущено Богом для самовыражения души. И Гайдук к этим границам приближается...

Глава с дикой «охотой» на оленей – «Путешествие к сердцу» – вызывает мощнейшее потрясение. Эмоциональное воздействие от происходящего настолько велико, что книгу невольно приходится закрыть и отодвинуть, уйти куда-нибудь и передохнуть, успокоиться. И не всякое восприимчивое сердце способно выдержать такое испытание – может случиться непоправимое. И ведь, кажется, чего тут мудрствовать – это всего-навсего слова на бумаге. А вот поди ж ты! И должно быть, неспроста сам Н. Гайдук провозглашает первейшим, необходимейшим условием любого художественного произведения – прежде всего глубочайшее эмоциональное потрясение чувств и мыслей читателя или зрителя.

Пожалуй, самыми выразительными, самыми высокими по своему художественному и поэтическому подъёму в романе являются главы: «Там, где пирует пурга», «Сияние верхнего мира», «Извините, что живой».

Никто и никогда до Николая Гайдук не поднимал северную природу до такой поистине космической высоты – её поэтическое осмысление и выражение нигде ещё так ярко и полно не находило себя. Другого такого примера в сегодняшнем российском литературном процессе просто не существует. И не только. И Рокуэл Кент в живописи, и Джек Лондон,

и Виктор Астафьев («Сон о белых горах») в литературе – все они выглядят гораздо прозрачнее по сравнению с необыкновенной и могучей словесной живописью Николая Гайдука. В романе есть такие страницы, которые можно перечитывать без конца. Для создания такого полотна мало одного художественного дара, знания жизни и творческого опыта. Это мог сделать только человек, прошедший через горнило Севера, испытавший всё происходящее на собственной шкуре, ни раз – лицом к лицу – встречавшийся с великой, обледелой Гипербореей. И кажется, что для автора нет ничего дороже и прекрасней этих – почти сказочных – северных видений и пейзажей с пургой, лютыми морозами, радужным сиянием, вековой тайгой; всем живым миром.

Оставив позади распятое и поруганное Беловодье (роман «Волхитка»), писатель, похоже, отыскал свой духовный и душевный рай под «Сиянием верхнего мира» и поселился там навсегда. И мы вместе с ним. Элементы фантастики, сказочности органично вживаются в сюжет и не вызывают никаких сомнений. И Царёк-Северок в своей хрустальной карете, и ребята-избушата, и пылающий цветок Светлотая, и испепеляющая своим дыханием пурга, и чудеса исцеления Тиморея в русской бане на глухом кордоне – всё это единый ряд художественной выразительности, без которой повествование просто не мыслимо. Да, творчество Н. Гайдука – это тот самый фантастический реализм, о котором в своё время говорил Ф. М. Достоевский.



Главная тема романа «Сияние верхнего мира», по моему мнению, как, впрочем, и тема «Волхитки» – это, прежде всего, человек и природа. Их взаимосвязь и гармоническое единение. Этот закон, почитаемый веками и тысячелетиями, в наше время игнорировать очень рискованно и опасно. Мир естественный, мир живой беспощадно мстит людям за нарушение его естественных законов. Вместе с природой неминуемо гибнет и сам человек. В памяти невольно возникает трагическая история, рассказанная В. Г. Распутиным в повести «Прощание с Матёрой». Именно он, великий русский писатель, в своё время бесстрашно бросился на перехват идеи строительства Катунской ГЭС. И победил. И Николай Гайдук в своей «Волхитке» – в её отдельных главах – как бы продолжая распутинскую мысль и раскручивая его эмоции изображает жуткую картину последствий реализации этой «идеи». Неприглядное, обнаженное дно – это дно не только изничтоженной, раздетой и разграбленной реки – это дно грядущих дней, дно души и сердца человека, неминуемый итог его «созидательных усилий».

Темперамент романа «Царь-Север», его эмоциональный стержень держится также на этом – на предчувствии великого апокалипсиса, на желании предотвратить человеческую экспансию, грозящую катастрофой всему живому. И автор – за кадром и в самой ткани романа – как бы вызывает к небесам: «Господи! Спаси и сохрани!» Но орда «человеков», орда разрушителей уже так близко, что скоро, кажется, вся эта

сказочная красота, вся поэзия мира взлетит на воздух, превратится в пыль и прах. «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!» («Волхитка»). И вряд ли смогут спасти её, укрыть распростертые крылья авторской фантазии. Под авторским крылом может сохраниться только «живопись на память» – картины того, что когда-то было на этой прекрасной Земле. Такова жестокая реальность. Вполне возможно, что такое уже когда-то случилось с нашей полярной прародиной Гипербореей.

«Сияние верхнего мира» по определению самого автора – роман в трёх книгах из рассказов и повестей. Автономность каждого повествования как бы разумеется, но вместе с тем всё это является единым целым, всё части объединены одним главным действующим лицом, единой сюжетной линией, сквозным и конечным смыслом всего произведения. И только иногда приходится сожалеть о том, что Антон Северьянович Храбореев – как та полярная звезда, небесный кол, вокруг которого вращается все мироздание романа – вдруг исчезает, уходит с поля повествования, потом появляется вновь по причине не очень органичного авторского волеизъявления. Писатель, как бы спохватившись, вопрошает: «А куда девался наш Дед-Борей? А ну подать его сюда!» И Храбореев опять возвращается в фабулу и сюжет. Правда, героя своего везде и всюду заменяет сам автор или кто-то из других его персонажей, например, Зимогорин, во многом очень похожий на Антона Северьяновича. Но каким бы щед-

рым не был талант писателя, нам очень интересно следить за судьбой и поведением Храбореева, этого неутомимого и бесстрашного изыскателя и рыцаря нашей полярной прародины Гипербореи.

К этим потерям Н. Гайдука можно было бы отнестись со всей серьёзностью, но вот ещё такой же пример. Кто внимательно читал, или даже перечитывал «Тихий Дон» Михаила Шолохова, тот не мог не заметить: два первых тома – цельные, ровные и художественно совершенные. А два других – третий и четвертый – сплошной пунктир, фрагментарность и фабульные, сюжетные перепады. Однако эти неровности, в конечном счёте, не мешают воспринимать роман как выдающееся явление отечественной литературы.

Из бытовых сцен в романе Н. Гайдука заслуживает особого внимания «митинг» мужиков в забегаловке (Глава «Плач-Гора»). К сожалению, у нас на Руси это самое обыкновенное дело: два мужика за бутылкой – собрание, а три – уже демонстрация, бунт. А цена всему этому – грош. Дальше «мыльных пузырей», рожденных горячей кровью, вздыбленной алкоголем, дело не идёт. Появляется баба, берёт «бунтаря» за шкуру и гонит домой, подхлестывая оплеухами и матюгами. Тут Н. Гайдук предельно точен, абсолютно достоверен. А вся эта трагикомическая сцена целиком так и просится на театральные подмостки.

Но вернёмся от грустного бытописания – к высокой поэзии романа. Автор этих строк осмысленно и серьёзно пред-

лагал однажды Н. Гайдуку отдельное издание его лирических отступлений. Начиная, допустим, с повести «С любовью и нежностью», затем роман «Волхитка» (Какое здесь изобилие прекраснейших моментов, исполненных высокой поэтической силы!). Затем – «Святая Грусть». Далее берётся весь лирический массив «Царя-Севера». И высокая стихотворная проза издаётся отдельной книгой в форме дневниковых записей писателя. Можно так – а можно и по-другому, варианты подачи этого материала могут варьироваться бесконечно. А эпиграф этой книги (или название) уже есть: «ПОСЛУШАЙТЕ ПЕЙЗАЖИ ГАЙДУКА. Валентин Курбатов». Уверен, по силе художественной выразительности, это была бы потрясающая, необычайная книга, раскрывающая творческую лабораторию писателя и его неординарный талант и личность.

Хотелось бы особо подчеркнуть сквозную тему всего творчества автора. Её заглавными словами вполне могли бы стать стихи Николая Рубцова: «Россия, Русь! Храни себя, храни!» Любовь к России, атакующие приливы защиты и сбережения своего народа и Отечества – проходят красной нитью через всю поэзию и прозу автора.

Погружаясь в творческий мир Н. Гайдука, а он по своему объёму, ценному запасу и значимости уже «тянет» на семи-восемью томное собрание сочинений, невольно задаёшься вопросом: откуда, по каким таким особым причинам и обстоятельствам у этого «сына алтайских степей» мог родить-

ся такой могучий дар?

Изначально всё выглядит очень просто и обыденно. Алтай. Озеро Яровое, где Н. Гайдук родился, город Славгород, где он прописан «по метрикам». Затем село Волчиха – «малая родина», здесь прошло всё сознательное детство и юность; школа деревенско-советская; медучилище; армия; режиссерское отделение института культуры в Барнауле. А далее – дорога «в люди». Жизнь Н. Гаидука – в литературе – это своего рода восхождение на Голгофу, самоистязание, от которого, если вдуматься, оторопь берёт. Не всякий смог бы вынести такое на своих плечах. Жутко даже представить все его многолетние мытарства по городам и весям бывшего Советского Союза, а потом – России. И повсюду – испытания на прочность. Борьба за «место под солнцем». Выработка характера и отстаивание своих принципов. И при всём при этом – ежедневное, упрямое, ничем неодолимое стремление к тому, чтобы добиться проявления своей собственной творческой индивидуальности, как в стихах, так и в прозе; и потому сегодня Н. Гайдук на вершине своей Джомолунгмы, и над ней полыхает сказочное сияние Верхнего мира.

Откуда эта тяга к слову, откуда неистребимая любовь к языку? Где истоки творчества? Вопрос риторический. А В. Астафьев со своими шестью классами и школой ФЗО, а В. Распутин, В. Белов, В. Шукшин, В. Личутин. Е. Носов, В. Лихоносов и другие – они откуда? Кто, набравшись риску, может объяснить их появление?

Сам Николай Гайдук на вопрос об истоках творчества отвечает следующим образом: «Это, видимо, отдельный разговор, который должен касаться глубинных истоков России, Святой Руси и нашего славянского неба – без этой удивительной «подсказки» свыше, без тонкой, но прочной связи со всем мирозданием невозможно вымолвить ничего такого, что могло бы заставить людей прислушаться. И всё, что я пишу – это как будто не моё – это конспекты разговоров с Богом, который почему-то выбрал грешную душу мою для беседы с людьми». И далее Н. Гайдук продолжает: «Последнее десятилетие, сломавшее Россию через колено, красноречиво доказало, что в искусстве чисто и честно работают лишь те, кто связан с Богом, с небом. Всё остальное – жалкая подделка, бормотуха, разлитая по книгам и картинам...»

Значит, всё от неба? Истинно, так. Искра божья – небесный подарок. И остаётся только искренне радоваться, что у нашего народа появился ещё один талантливый, бесстрашный и яростный певец.

*Владимир Павлович Марин, профессор, заслуженный работник культуры, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств.*

# Книга первая

## Колдовское

### 1

В молодости мир казался краше и добрее, и вода казалась помокрее. Вода в Колдовском отличалась – добрым духом, целительным вкусом. И рыба там бродила забубённая – крючками питалась; молодцевато рвала тетиву и улетаала стрелой, на прощанье помахавши хвостиком...

Колдовское озеро околдовало парня с первого взгляда.  
– Будем строиться, Марья! – Он подмигнул жене. – Готовь посуду. Топор в самогонке замачивать надо... Что хочешь? Я тебе серьезно. Есть такая примета. Народная.

Стояло погожее лето. Редкие дожди горстями сыпались – гашили золотистую жарынь.

Радостно работалось, азартно. Молодость играла в каждой жилке, любовь кипела в каждой капле крови. Он строил дом. Что может быть прекрасней на земле – своими руками отгрохать свой дом? Топор спозаранку звенел. Жадно откусывал лишнее. Плескался в белой пене шумных щепок. Без

устали махал стальными крыльями, улететь хотел под небеса. Вечерело. Молоденький месяц, накаляясь вдали, становился похожим на острое лезвие, вбитое в берёзовое облако, растущее на горизонте.

– Антоха! – шумели мужики, помогавшие строиться. – Ну тебя к лешему! Хватит!

Он весело скалился, стружку смахивал с головы.

– Давай закончим ряд!

– Что – завтра дня не будет?

– А завтра мы другой рядок уложим и оконпатим мохом.

– Ну и дурной же ты, Антоха, на работу!

– А я не только на работу, я вообще дурной...

Мужики посмеивались. В вечернем воздухе ароматно пахло щепками. Бодрящей прохладой потянуло от озера. Соловей запел во мглистых липах, а мужикам померещился перезвон топора, гуляющего дальним тонким эхом. Заработались.

– Храборей! Ну, всё! До завтра! Мы поехали.

– Не проспите! – предупредил Антоха. – А то срежу с каждого по трудовню и даже по трудоночи!

Оставшись один, блаженно потягиваясь, Храбореев разделся догола, искупался в парном молоке: вода сияла, убеждённая месяцем. Приготовив «солдатскую» похлебку на костре, он проворно опустошил кастрюлю.

«Эх! – улыбнулся мечтательно. – Хорошо бы смотаться к Марье, пошатать железную кровать! Но дворец мой кто будет



стеречь?»

Антоха открыл тайник. Достал фонарик, удочку. Накопавши червей под липами – зашпешил на озеро. До темноты торчал на берегу. Поплавок уже не видно, а он – сидит, мечтает о житье-бытье в своем «дворце».

Костерок, догорая, развалился грудой самородков. Темнота обступила недостроенный дом. Купол небо становился ярче, выше. Отраженные звёзды на озёрной воде распускались лилиями. Туманец клубился в низинах – клубками светлой пряжи подкатывался к будущей избе. В тёмных липах соловей продолжал наяривать. Потом замолчал – может быть, обнимался, целовался с подружкой своей.

В тишине было слышно, как бьётся хрустальное сердечко родника – неподалеку от сруба. Ветер в липах изредка ворочался, поудобнее укладывался на ночь. Роса набухла на листьях, на травах, на цветах таинственной июльской ночи. Крупная, увесистая роса. Рано утром встанешь, руки сунешь в траву – полные ладошки нагребёшь и, улыбаясь, умоешься колдовскими росами. И так хорошо на душе, так отрадно кругом – горло перехватывало редким нежным чувством. (Эти минуты позднее представлялись минутами счастья).

Солнце красный плавник горячо поднимало из глубины Колдовского озера. В туманах на том берегу приглушенно фырчала машина – пробиралась по мокрой высокой траве, над которой уже сверлилась первая пчела, бесшумно перепархивала цветная бабочка. И появлялись помощники – за-

кадычные друзья по рыбалке и охоте, друзья по заводу, где Антоха вкалывал до недавних пор.

## 2

Первую страницу трудовой своей биографии Антон Храбореев накарябал в семнадцать лет. Работал учеником токаря на машиностроительном заводе; дорос до второго разряда, до третьего. Потом забрали в армию. Крупный, дерзкий парень – он служил в военно-воздушном десанте. Заматеревший, весёлый и отважный – вернулся в Тулу, где ждала подруга. Женился, и опять на заводе «блоху подковывал», получая гроши. Кроме премудрости токаря, освоил мастерство строгальщика. Металлообработкой занимался. Заочно поступил в политехнический, но вскоре надумал бросать.

– Зря! – огорчился ректор. – Ты башковитый парень, диплом не помешал бы.

– Семья! Когда учиться?

Так он оправдывал себя, и при этом постоянно выкраивал время для рыбалки и охоты. Многие знали эту слабинку Храбореева. И ректор тоже в курсе был.

– Охоту держать – дом разорять. Знаешь такую поговорку? – задумчиво поинтересовался ректор.

– Да ну, – удивился Антоха. – Вон сколько мужиков дома свои содержат, благодаря охоте. А у меня сизмальства к этому делу такая страсть...

Ректор не хотел его отпускать.

– Наши пристрастия, – хмуро сказал он, – это наша судьба. Сначала бы выучился...

– Нет! – Храбореев улыбнулся на прощанье. – Я уже фундамент заложил!

Антоха неспроста решил построиться неподалеку от Тулы – родители жили под боком. Пригожее местечко присмотрел он, обставленное громадными дремучими липами, которых было много раньше на Руси. Лапти, мочалки, рогожные кули, ложки и чашки – всё когда-то делали из липы. Кроме того – здешний рыбак это прекрасно знает – в липовых лесах дождевые черви водятся намного лучше, чем в любом другом лесу.

Мужики работали на совесть – ни одного погожего денька не упустили. За два с половиною месяца деревянный «дворец» около озера поднялся – просторный, светлый. Фигурные столбы поддерживали крышу над резным крыльцом. Декоративно убранный фасад – узорные причелины, полотенца, наличники, подзоры, свесы кровли и всё такое прочее, волнующее сердце даже издали. А уж когда ты в дом зайдешь – перекреститься хочется на это благолепие. Душа поёт, глаза кругом порхают. И сразу понятно тебе: хозяин смотрит в будущее, думает большой семьей обзавестись.

Жили с красавицей Марьей – как в сказке. Достаток в избе, мир, совет да любовь.

– Что тебе надо, – спрашивала Марья, как золотая рыб-

ка, – для полного счастья?

– Сына!

– Будет тебе сын!

– И дочка не помешает.

– И дочка будет!

Говорили весело. Ещё не знали: судьба в их планы внесла поправку. На здоровье жены сказались послевоенные годы; жилось бедово, голодно и холодно. Марья – врачи определили – сможет выносить лишь одного ребенка, да и то с трудом.

### 3

Родился мальчик. Синеглазый, кудрявый, на ангелочка похожий. Храбореев, пока жена была в роддоме, знатное застолье закатил – ни еды, ни выпивки не пожалел. Крепко поддав на радостях, двустволку сграбастал и в предвечернюю мглу по-над озером стал засаживать выстрел за выстрелом. Горячие гильзы позванивали под сапогами... Старая, но всё ещё хорошая двустволка у него была – сработана в лучших традициях тульских оружейников. (Знакомый охотник подарил).

Никанор Фотьянович Усольцев, дядька, приехавший в отпуск из Мурманска, неодобрительно сказал:

– Племяш! Да успокойся! А то будешь в кутузке отмечать день рожденья сына.

Сели за стол, посредине которого жизнерадостно сияла

морда тульского самовара.

– Ну, что? – потирая руки, спросил хозяин. – Ещё чайку?

– Мне хватит, – сказал Усольцев. – А вы как хотите.

В самоваре была водка – Антоха давно любил такие чудачества. Опять разлили «чаю» по стаканам. Выпили.

– Эх! – неожиданно воскликнул раскрасневшийся племянник. – А может, мне рвануть на Север? А, дядя Никон?

– Зачем? – удивился Усольцев. – От жены? От пелёнок?

– Нищета! – Храбореев стукнул кулаком по столу. – Нищета заколебала, дядя Никон!

– Чёрной икрой угощаешь... – Никанор Фотьянович обвёл рукою стол. – Всем бы так!

Племянник отмахнулся.

– Это не икра – это дробинки, – пошутил он. – Из патронов повыковыривал. А по большому счёту – хвалиться нечем. Вот я и подумал про Север. Может, рвануть?

– Куда теперь? – ответил рассудительный Усольцев. – Надо парня воспитывать.

– Надо! – охотно согласился Храбореев. – Воспитаю мужика. Защитника.

Пожилой сосед – Аркаша Акарёнок – коренастый, малорослый дядька, покачивая указательным пальцем перед носом Антохи, настоятельно советовал – уже не первый раз за вечер:

– Следом нужно второго рожать. Обязательно. Сразу надо. Пока молодой. Пока ещё порох в пороховнице.

– Успокойся, Нюра! Это – десантура! – Храбореев стиснул плечо соседа. – У меня столько пороху – тебе не снилось!

Аркаша Акарёнок скуксился.

– Отпусти, зараза, больно. Во, даёт! Как будто калёным железом прижёт!

– Извини, я не хотел.

– Ну, Храборей! – Сосед потёр плечо. – Ну, лапы у тебя...

– Я ж говорю, пороху много. У меня с деньгами напряжёнка. – Антоха почесал потылицу и обратился к Никанору Фотьяновичу: – Ну, а как насчёт Мурманска?

– В каком это смысле?

– Там подзаработать можно, дядя Никанор?

– А чего ж нельзя? Конечно. Север всё-таки. Да только это же далековато. Жена тебя отпустит? Нет?

Новый тульский самовар опустел – круглощёкая морда его даже словно потускнела от пустоты. Хозяин вознамерился было слазать куда-то в закрома – наполнить самовар, но приезжий дядька воспротивился.

– Это уже будет пьянка. Зачем, Антон? Не надо. Пошли, лучше пойдём, кислороду глотнём.

Вышли на воздух – на резное крыльцо. Покурили, поговорили, глядя в сторону озера, уже потянувшего на себя простынку из прозрачного тумана. Храбореев отстрелянную гильзу поднял – закатилась в тёмное, укромное место.

– А ты сюда чего, дядя Никанор? Неужели ко мне специально?

Усольцев был профессор, много путешествовал; в последнее время книжки сочинял о Русском Севере.

– Я проездом, – признался. – В Ясную Поляну заскочить охота.

– А чего ты?.. Кого там забыл? На той поляне.

– Графа Льва Толстого навестить хочу. – Профессор усмехнулся. – Давненько мы с ним не виделись.

Храбореев понюхал пустую гильзу. Сморщился.

– Да, ты прав, дядя Никон, – возвращаясь к прерванному разговору, Антоха гильзу в карман засунул. – Мурманск – это не ближний свет. А я семью не брошу. Ну, да ничего, не пропадём. Я и здесь придумаю, как зашибить копейку. Есть башка на плечах. Сморакуем.

## 4

Эта мысль – о деньгах – постоянно свербела в мозгу. Антоха жадным не был, нет. Просто родители свой век прожили в бедности, вот и хотелось ему – из грязи в князи вылезти, доказать себе и людям, что не лыком шит.

Никогда ещё так остро, как теперь, после рождения сына – болезненно так не думал Храбореев о деньгах: «Марью надо подлечить! Может, родит ещё парнишку или девку. Врачи говорили, в Москве можно капитально здоровьишко поправить. Были бы деньги, чёрт их подери! Где взять?»

И Храбореев пустился на браконьерство.

Раньше он и слушать не хотел о самоловных крючках – орудие варвара, который не столько ловит рыбу, сколько губит; большая часть её срывается с крючков и погибает. А теперь он связался с какими-то матёрыми мужиками, которые спокойно всё дно реки обтыкивали такими самоловами – рыбе негде пройти. Новые дружки его не гнушались ни мелкой сетью, ни бреднем, ни тротиловой шашкой. Но всё это богатство – плотва, налим и щука, окунь, белый да красный карась – это богатство речной и озёрной воды. А сколько добра по лесам – по знаменитым тульским засекам – среди неохватных дубов и раскидистых клёнов, среди могучих ясеней, ильмов. Там тебе и волки, и лисицы, кабаны и лоси, выдры, зайцы, белки, чёрная норка, канадский бобёр... Там не только глаза разбегаются, там горячее сердце охотника в груди разбегается так, что пьянеешь на этих тульских засеках.

Промышляя тёмными ночами, Антоха ощущал в себе невиданный азарт контрабандиста, но угрызения совести не было; не для себя старался, для семьи – святое дело. Эти дармоеды, кто пристроился в тёплых конторах, они-то своим семьям обеспечили достойное житьё – у них зарплаты выше крыши, привилегии. А если разобраться: что у них – пять рук, две головы? Что они – работают по тридцать пять часов без перекура? Да ни черта подобного! Пристроились к жирной кормушке, к хорошей зарплате, а тут как хочешь, так и вертись... Ну, вот он и вертелся. Таскал пудами рыбу;



вёдрами тягал красную и чёрную икру. Мясо, шкура зверя – всё шло на продажу.

И деньги вскоре потекли к нему – зазвонистыми ручейками. Радовался, руки алчно потирал. Никогда ещё он не ворочал такими шальными деньжищами. Купил себе охотничий малокалиберный карабин – легкий, простой и надёжный, о котором мечтал много лет. Купил легковушку, правда, не новую, с пробегом, но ещё хорошую, с половины оборота «бьющую копытом». Гараж построил; дом обставил – на загляденные. Через армейских друзей справки навёл о старшине Ходидубе, о том, что любил повторять: «Успокойся, Нюра, это десантура». Ходидуб служил в Московском военном округе – лейтенант.

Храбореев – не с пустыми руками – смотался в Москву, встретил «ходячего дуба» и заручился поддержкой; взял адреса, телефоны. В столичной клинике договорился, чтобы Марью обследовали. Всё отлично складывалось. Он вернулся домой, и опять воровскими тёмными ночами где-то мотался, вертелся व्यюном на озёрах, на реках. В глубине души осознавал: пора завязывать, а то уже дело стало попахивать порохом – то ли егерь, то ли рыбнадзор тёмной ночью стреляли в него.

И он уже хотел затормозить. Думал, вот-вот, ещё чуток озолотится – и шабаш. Но денег много не бывает – люди верно подметили. Не мог остановиться Храбореев. Рвал и метал, как чумной. И остановился только тогда, когда случи-

лось непоправимое...

## 5

Однажды поздней осенью мальчик проснулся в доме и никого не обнаружил рядом. Родители отлучились куда-то. Продрав глазёнки, мальчик вздохнул, но не сильно расстроился. Во-первых, он – самостоятельный «мужик» (отец внушал). А во-вторых, под боком у него надёжный друг – белоснежный «северный медведь» (Подарок Никанора Фотьяновича из Мурманска).

Плюшевый медвежонок имел в груди какое-то хитроумное приспособление – басовито рычал. В пластмассовых глазах крутились чёрные зрачки, похожие на пуговицы. Медвежонок казался живым, настоящим.

– Северок! – сказал мальчик, зевая. – Доброе утро!

– Привет! – басовито рыкнул медвежонок с левым надорванным ухом, с коричневой подпалиной сзади.

Подпалина эта – и смех и грех! – появилась, когда «смышлёный» мальчик посадил медвежонка на горячую печь: пускай погреемся, ему ведь на Севере холодно было. Медвежонок пострадал на печке, но не обиделся – по глазам понятно. И мальчик после этого полюбил его ещё сильнее. Мальчик всегда засыпал с медвежонком под боком – привязался.

– Северок! Мы одни! Мамки с папкой нет. Что будем делать?

И медвежонок ответил (мальчик сам озвучивал):

– Пойдём, погуляем.

Одевшись, он увидел завтрак на столе. Есть не хотелось, а надо. Мальчик сел на табуретку. Покачаться попробовал. Табуретка – уже расшатанная – закрипела, запиликала под ним. Улыбаясь, мальчик соскочил. Взял медвежонка и рядом с собой посадил – на другой табурет.

– Кашу надо лопать! – строго сказал, подражая отцу.

– Лопай сам. Я не хочу.

– Что это? Бунт на корабле? – возмутился мальчик, повторяя отцовские слова и даже интонацию.

– Медведи кашу не едят!

Мальчик задумался.

– А папка говорил мне, что медведи ходят по ночам, едят овёс на поле.

– Лошади пускай едят овёс, а я не буду!

– Ну, а что же тогда, Северок? А может, ягоды из подпола достать?

– Нет, не хочу.

– Вредина. Значит, пойдем натошак?

Медвежонок озорно посмотрел в окошко. Там блестело Колдовское озеро – первый, тоненький лёд.

– Натошак! – Медвежонок подмигнул чёрной ягодкой глаза. – Натошак мы будем легкие. Не провалимся...

– Куда не провалимся? Что ты опять задумал?

– Пошли, потом скажу...

– Северок! А звездочка нам пригодится?

– А как же!

И мальчик взял с собой любимую игрушку – «полярную звезду» с электрической лампочкой в сердцевине. Звезда была раскрашена цветами радуги и подсоединялась к проводу. Вечерами, засыпая, мальчик любовался «полярною звездой» – отец включал.

Колдовское озеро целиком остекленело за ночь. Сияло отраженным солнцем, напоминая огромный золотистый блин. (Такие блины, только маленькие, пекут на масленицу; мальчик помнил и любил яркую, веселую масленицу).

Разгоралось утро. Пташки беззаботно почикивали. Дымились деревенские трубы на том берегу – домики смотрелись как детские игрушки. Мычала корова, собака взлаивала. На рассвете землю припудрил первый снежок. Белизну берегов украшала прощальная желто-красная опадь; тальники облетели, березы. Крепкий лист кое-где ещё держался на дубах, на ясенях. Зато кленовый лист – разлапистый, багровый – напоминал крупную лапу раненого зверя, прошедшего по первоснежью. Мальчик на минуту замер.

– Северок! Понюхай, кто здесь прошел? Кто?

– Дед Пихто.

– Разве у деда такие следы?

– А он босиком... после бани...

И мальчик с медвежонком засмеялись – кленовый лист казался уже не страшным. Мальчик спустился на берег. За-

былся. Очарованный ослепительным миром, он заигрался и пошёл с улыбкой на устах по первому стеклу сияющего льда, по которому скакали солнечные зайцы, увлекая за собой.

## 6

Три дня и три ночи потом на седых берегах трещали косматые костры, плавающие снег и превращающие мёрзлую землю в жирную кашу. Мать голосила, волосы на себе рвала. (У Храбореева виски в одночасье оштукатурила седина). Угрюмые люди сновали на лодках. Ломали и таранили жалобно звенящее ледовое стекло. Баграми кололи звезды, с холодного неба упавшие в темень воды. Сетями процеживали озеро, кровавое от всполохов. Сколько ни старались, но так и не смогли найти беднягу. Непонятно было, куда он запропал. Как будто он, безгрешный, не в полынью провалился – в небеса ушёл по перволёдку.

Храбореев закаменел. Несколько ночей не спал. Не пил, не ел. То сидел на крылечке, беспрестанно курил папиросы – одну от другой. То круги нарезал вокруг дома. Прислушивался к озеру. Осторожно спускался на лёд. Шею вытягивал от напряжения. Глаза хищновато зауживал. «Нет, – понуро думал, – показалось...» Возвращаясь на крыльцо, опять курил. И почему-то вспомнилось, как вот здесь, на крыльце, он дурак дураком веселился – из ружья салютовал по поводу рождения мальчишки. Горячие гильзы бренчали, раска-

тываясь по крыльцу.

И тогда пришла свинцовая мыслишка – насчёт ружья, а точнее, насчёт карабина, которым он теперь владел. Медленно придя туда, где хранилось оружие, он загремел какими-то банками, вёдрами. В тяжёлых сапогах он бестолково потоптался по красной глине, по чёрной чавкающей грязи – почти по щиколотку. При тусклом свете лампочки понуро посмотрел под ноги, и не сразу как-то до него дошло, что это – красная и чёрная икра, которую он рассыпал из вёдер, приготовленных на продажу.

Он уже взял карабин и хотел уходить, но тут же и остановился...

«А где патроны? Ладно! Нет! – решил, вздыхая. – Много будет шуму!»

Поставив карабин на место, Храбореев пришёл в сарай. Здесь было темно, только тонкою ниткой свет из поднебесья проникал – в игольное ушко невидимой какой-то прорехи в тесовой крыше. Пахло сеном, отрубями. Испуганный воробышек, панически пискнув, пулей выскочил из-под застрехи – крылья в тишине и в темноте затрепетали сухими листьями и словно бы осыпались где-то за дверью; затихли. Потирая небритое горло, затрещавшее грубой щетиной, он посмотрел на перекрытие – толстую балку. Если веревку закрепить – не оборвется. Антоха попытался верхней губой до носа дотянуться – детская привычка, говорящая о сильном волнении.

А в это время на озере что-то странное стало твориться.

Словно бы огонь запылал где-то в глубине. Тёмный лёд на середине сделался молочным и озарился радужными всполохами, похожими на колдовские цветы, вырастающие на середине озера. Беззвучно – как лезвие ножа сквозь масло – сгусток золотистого огня прошел сквозь лёд. Сделав круг по-над озером, чудная звезда влетела в дом Храборевых – ничуть не опалив, не повредив бревенчатую стену. Покружившись по комнате, странный огонь остановился в изголовье женщины.

Вздрогнув, Марья проснулась. Похолодела. «Полярная звезда» – она узнала игрушку сына – ярко мигнула в темноте и улетучилась. Ушла обратно в стену – только золотистое пятно ещё светилось несколько секунд.

Марья подушку потянула, прикрывая больно забухавшее сердце. Отдышалась, ноги свесила на пол.

– Антоша! – позвала. – Ты где?

Часы в тишине равномерно постукивали. И вдруг часы остановились.

– Антон! – губы её затряслись.

И в это мгновенье двери в избу сами собою распахнулись, жалобно заскрежетав. Холодный воздух волнами повалил.

Марью зазнобило, но не от холода – от страха. От необъяснимого ужаса. Накинув телогрейку, она торопливо пошла за порог и заметила все тот же странный летающий огонь, мигнувший в потемках над крышей сарая. Марья пошла ту-

да. Запнулась обо что-то. Загрелось пустое ведро.

Храбореев замер.

– Ты чего здесь? – угрюмо спросил перехваченным горлом.

– А ты? – Глаза её расширились. – Ты что здесь?

– Так... по хозяйству... Решил управиться...

Марья обняла его. Затряслась в рыданиях.

– Управиться? А обо мне подумал?

Он заскрипел зубами.

– Ну, не надо. Что ты?

Окаянная веревка лежала под ногами – выпала. Обнимая Марью, он елозил сапогом по земляному полу – старался отодвинуть веревку за деревянный ларь с отрубями.

– Пошли! – Храбореев повёл жену под руку. – Что подхватила-то?

Она молчала. И только после, когда лежали под одеялом, грелись тихим теплом друг от друга, Марья загадочно спросила:

– Помнишь Полярную звезду?

– Какую звезду?

– Игрушку.

– А-а! Ту, что дядька привёз из Мурманска?

– Ну, да. Там ещё лампочка была в серёдке.

– Была. Перегорела, – вспомнил муж. – Я новую туда поставил... Ну, и что?

Он спрашивал сонно, устало.



– Ладно! – Ей расхотелось рассказывать. – Спи. Потом поговорим...

Антоха поднялся. Покурил возле открытой форточки. За окном было звёздно, просторно – в холодных чёрно-синих небесах ни облачка. Вдыхая, он вспоминал своего «шибко умного» дядьку из Мурманска. Давненько уже занимаясь вопросами Русского Севера, дядя Никанор много любопытно-го рассказывал.

– Полярная звезда, – задумчиво сказал Антоха, – это небесный кол, вокруг которого вращается всё наше мироздание.

Марья изумленно посмотрела на него. И что-то вспомнила.

– Часы... – показала рукой. – Заведи. А то остановились. Для них начиналось какое-то новое время. Оба они ощущали это – с тревогой, с болью.

## 7

Русская печь – весёлая горячая душа; и многое в жизни избы зависит от того, насколько хорошо «душа» горит и насколько хорошо умеет хранить в себе жаркое золото. Антоха долго мастера искал – когда строились. Издалека привёз печника – седобородого, несуетного умельца, который спервоначала закатил целую лекцию на тему русской печки и всяких обрядов, связанных с нею. Работая не только языком, но

и руками – мастеровой старик проворно и ловко сделал то, что называется топливник и сводчатая камера или – горнило, которое можно раскожегаривать до полутысячи градусов; при эдакой температуре хозяйка может смело выпекать вкуснейший русский хлеб. Горнило, дошедшее до этой температуры, потом тепло часами сберегает; можно томить молоко, заниматься варкой всякой рассыпчатой каши.

Короче говоря, печка получилась – мировая. Храбореев даже удивлялся: два-три полешка бросишь – сутки в доме держится тепло. А уж если Марья затевала стряпню – надо было форточку держать открытой, чтоб не задохнуться.

И вот хваленая русская печь вдруг перестала тепло держать – как будто в ней потаённую какую-то дыру проделали. В доме было холодно, сколько ни топи. И даже не холодно, нет, было как-то знобко, промозгло и неуютно. Серебряно-белёный тёплый угол за печкой сначала стал тускнеть, потом темнеть, а потом покрылся какими-то чёрно-сизыми «трупными пятнами». (Так невольно думал Храбореев). Невмоготу ему стало томиться в этой просторной избе, окнами смотрящей «на могилу сына».

– Надо уезжать! – однажды сказал Антоха.

– Куда?

– На Север!

– Ты что? – удивилась Марья, взметнувши брови. – У меня пожилые родители. Как я брошу...

Он отмахнулся, раздраженно оборвал:

– Ну, ладно. Запела. У тебя – пожилые, а у меня – молодые? Я просто так заикнулся про Север... Не обязательно туда... Отсюда нужно дёргать – это точно. И чем скорей, тем лучше. Хоть в Тулу, хоть куда...

– А в Туле? Что? Какая радость? Снова на завод пойдешь?

– А что ещё? Буду блоху подковывать! – он говорил со злинкой, резко.

– Что ты сердишься? Я же не просто спрашиваю. Ты-то вольный казак, а у меня, сам знаешь, работа здесь... Мне нужно ребятишек доучить.

Марья была учительница начальных классов. Стройная, медлительная, большеглазая, с крупными и правильными чертами русской красавицы. Ещё совсем недавно Марья восхищала мужа своею царственной величавостью, гордым поворотом головы. А вот теперь это подспудно раздражало; с такой же величавой медлительностью ходит и поворачивается корова.

– Ребятишек тебе нужно выучить? – взъелся Храбореев. – Своего надо было учить! Я тебе как говорил? Бросай эту чёртову школу, дома сиди! Так ты... Если бы ты не побежала в школу в то утро...

Женщина опустила голову. Заплакала.

– Я теперь – крайняя... А ты? Куда ты хапаешь пудами, ведрами? Все ночи напролёт...

– А для кого я хапаю? Для себя? Мне хватит водки самовар и огурец. Я же для вас старался... А ты? Куда ты нахва-

тала этих уроков? За них копейки платят, а дома тебя нет.

– Да это я теперь взяла, чтоб дома не сидеть.

– И раньше было ничуть не меньше. – Он закурил, гоняя желваки по скулам. – Ну, хватит сырость разводить. Я не говорю, что надо прямо сейчас – шапку в охапку и бежать отсюда. Я вообще о том, что надо удочки сматывать.

– Надо, – согласилась Марья, вытирая слезы. – Мне тоже тяжело смотреть на это озеро.

Он пошёл к двери. Сурово оглянулся.

– В город съезжу. С мужиком одним договорился встретиться, потолковать насчет трудоустройства.

За рулём своей легковушки он успокаивался. Дорога отвлекала.

## 8

Нравился ему этот тихий, скромный русский город, уютно обставленный клёнами, каштанами, дубами, липами и лиственницами. Душу радовали храмы – те немногие, которым безбожная власть не открутила почему-то золотые головы. И не могли не радовать озеро Бездонное и Нижний пруд – там всегда можно было рыбёшку подёргать. Правда, мелкая рыба; она там больше похожа была на крупную серебряную слезу – так думал Храбореев – не сравниться с тем, что можно поймать в окрестностях, но ничего, терпимо. «Главное – работу на крючок поймать, – думал Храбореев, – всё осталь-

ное как-нибудь приложится...»

Работа в городе была, да в области тоже. Можно было, например, пойти на Тульский оружейный завод. Можно было прописаться на Косой Горе – на Косогорском металлургическом специалисты нужны. Всё это так, но вот закавыка: Храбореев, хлебнувший воли и узнавший вкус хороших денег, не хотел батрачить на заводе, «блоху подковывывать».

Как-то раз, понуро шагая по тульским улочкам, он оказался на автобусной остановке. Поднял глаза, увидел объявление – рабочих вербовали на Север, на буровую. «Может, махнуть?» Храбореев хотел внимательно прочитать объявление, но – не успел. У доски закопошился рыжий паренёк: кисточку достал, клеем замазал вербовку на Север и ловко пришпандорил цветной плакат – цирковые белые медведи не сегодня-завтра приезжали в Тулу на гастроли.

Несколько минут Антоха понуро пялился на белых цирковых зверей, за которыми затаилось приглашение на Север. И удивительно ярко представлял себе горы снега, лёд, морозы. Именно Север сейчас до зарезу был необходим ему, раскаленному горем. Что-то в груди нестерпимо горело, дымом табачным развеивалось. Чёрная та, кошмарная ночь возле костров на озере жутко опалила Храбореева. Лицо почернело, сделалось похожим на печёную картошину. Глаза его – до трагедии – цвели васильками. Теперь – потемнели. Причем потемнела, перегорела не только радужка – сами белки, опутанные красными прожилками лопнувших сосудов. Да-

же ногти на руках пожелтели, поблескивая ореховой копченной скорлупой. И зубы точно обгорели, желтовато-чёрными сделались – курил ужасно много. Курил и всё ходил, ходил кругами, искал вчерашний день на озере. Присматривался к дальнему берегу. Прислушивался к мышинному писку проклятого льда.

Иногда он видел неестественный свет в тёмной озёрной глубине, словно кто-то лампочку включал в глубокой ледяной избе. А потом вообще такое началось – с ума сойти.

Однажды Антоха вдруг увидел медвежонка. Явственно увидел и не на шутку перепугался. Нет, не медвежонка, а того, что происходит с головой. Он зажмурился, глаза протёр. Думал, исчезнет бесовский медвежонок. Нет, не исчез. Белый, косолапый – знакомый Северок – с левым надорванным ухом, с коричневой подпалиной сзади.

Северок, постукивая длинными кривыми когтями, походил по вечернему льду. (Дело было вечером.) Сунул мордочку в прорубь и, едва не провалившись, неуклюже отпрянул, скользя на раскоряченных лапах. В проруби – на дальнем краю плавала какая-то зимующая утка. Переполошившись, она крыльями взметнула брызги, заорала как недорезанная – и взлетела, роняя пух над озером.

Покосившись на утку, Северок отвернулся, фыркнул и пошёл куда-то по серебристому половику, постеленному через Колдовское озеро – луна вставала, округляясь над береговыми деревьями.

Храбореев опять зажмурился. Шапкой треснул оземь.

«Северок? Ну, всё! Я, кажется, готов! – Он посмотрел в сторону дома. – А может, за ружьем сгонять? Засадить жакан!.. В медведя... Или в душу мать свою...»

Он заставил себя успокоиться. Шапку поднял. Постоял, глядя в небо. (Полярную звезду искал зачем-то).

Немного пройдя по лунному половику, медвежонок опустился на четвереньки и побрёл в сторону берега – под снегом затрещали кусты.

«Да это что ж такое? – ошалело думал Храбореев, увязавшись следом. – Северок? Откуда ты взялся?» И в то же время здравый рассудок говорил, что медвежонок грезится; не надо идти за привидением – ни к чему хорошему это не приведет. Но очень уж велик был болезненный соблазн. И Храбореев начал «гоняться за призраком».

Старые заброшенные амбары кособоко стояли на берегу. Пахло гниловатым мёрзлым деревом. Луна, всё выше восходившая над озером, отбросила голубоватые чёткие тени строений – они искривлено лежали на искристых сугробах. Сбоку, за амбарами, торчали крупные заснеженные стебли, похожие на борщевики – лакомство медведей. Сухие стебли – только что сломлены. Свежий след протоптан по снежной целине – глубокие чашки следов сахарно блестели в лунных лучах.

Антоха насторожился, чутьем охотника осознавая, что это – никакое не наваждение. Зверь – настоящий. «Но отку-

да?! – зазвенело в голове». Он прижался к холодной, бревенчатой стене. Снег за амбаром захрустел, и Храбореев невольно попятился. Замер. Осторожно заглянул за угол, и сердце дрогнуло. «Что за черт?!»

За амбаром притаился человек. Дышал хрипловато – запыхался. Видно, бежал. «Да это что ж такое? Оборотень, что ли?» – в голову полезла ерунда.

Незнакомец тоже заметил его. Настороженно посмотрев друг на друга – шарахнулись в разные стороны. И опять за-таились. Скрываясь за амбаром, воровато поскрипывая снегом – опять сошлись у тёмного угла.

– Тебе чего здесь? – угрюмо спросил Храбореев.

– А тебе?

– Я здесь живу. А ты чего шарашишься?

– Значит, местный? Это хорошо, – обрадовался незнакомец. – Я ищу медвежонка. Не видел?

Глаза у Храбореева распухли от изумления. Язык присох к зубам. Он наклонился, снегу зачерпнул. Пожевал, не ощущая вкуса.

– Медвежонка? – переспросил, глотая снег. – Какого медвежонка?

– Белого.

– Ты что буровишь, дядя? Ты в своем уме?

– Пока ещё в своем, – вздохнул мужчина. – Но запросто можно рехнуться с медведями этими.

Храбореев снова снегу зачерпнул, лицо растёр. Взбодрил-



ся. Ему вдруг стало весело.

– Белая горячка довела до белого медведя? – улыбаясь, Антоха швырнул под ноги остатки не съеденного снега.

Незнакомец вышел на свет. Луна озарила добротную обувь, демисезонное расстегнутое пальто, длинный шарфик в полоску.

– Ну, причем здесь белая горячка? Я серьёзно говорю. Голос у мужчины тверёзый, густой.

Храбореев стёр улыбку рукавом – шаркнул по лицу, вытирая крошки снега с подбородка. Растерянно хмыкнул.

– А с каких это пор белые медведи водятся в наших местах?

– Со вчерашнего дня. Цирковые медведи приехали. Я работаю в цирке.

Храбореев чуть слышно выругался.

– А я-то уж подумал, господи, прости... – Он обескуражено покачал головой и неожиданно спросил: – А как насчет билетика? Поможете?

– Приходите. – Незнакомец назвал свою фамилию. – Спросите меня. Бесплатно проведу.

## 9

Пока он даже сам ещё не знал, зачем бы ему сдался этот приезжий цирк. И только позже, собираясь ехать на представление, он вспомнил: незадолго до того, как разыгралась

трагедия с сыном, Храбореев обещал свозить его на выступление какого-то заезжего клоуна, от которого вся ребятня «кишки рвала» – такая хорошая была клоунада; про это даже в областной газетке написали. Пообещал он мальчишке тогда – и не свозил. У него, у отца, другой маршрут наметился в ту пору – нужно было срочно перемёты проверять, контрабанду в лесах перепрятывать. И вот это жгучее чувство – чувство невыполненного обещания – подспудно толкало теперь Храбореева съездить и посмотреть. И пока он ехал в Тулу – он как-то странно посматривал на переднее сидение машины. И при этом Антоха попытался верхней губой дотянуться до носа – привычка, говорящая о сильном беспокойстве.

– Сейчас, сынок, – шептал он, – попохочем!

Передвижное здание цирка-шапито представляло собой разноцветный шатёр, похожий на цыганский, только очень пёстрый и очень огромный. Шатёр был величаво круглый, с пузатым высоким куполом.

– Вот этот купол, – говорил Храбореев и присаживался на карточки. – Видишь, сынок? Вот этот купол и называется «шапито». И поэтому цирк-шапито получается. Ну, погоди, я найду медвежатника.

Он потолкался под куполом цирка, заваленном какими-то канатами, клетками, ящиками для фокусов и прочим фантастическим добром. Не без труда отыскал «медвежатника» – так он про себя назвал нового знакомого.

«Медвежатника» теперь было не узнать: важный, строгий, в чёрном костюме администратора или распорядителя. Собираясь выписывать контрамарку, «медвежатник» прищурился одним глазом от дыма – сигарета подрагивала во рту.

– Сколько вас? – привычно спросил он, прекрасно понимая, что один мужчина в цирк не пойдёт – это ж не кабак.

Антоха сначала растерялся, точно пойманный на чём-то запретном, никому не известном. А потом широко улыбнулся, удивляясь такой тонкой, дипломатичной постановке вопроса.

– Нас?.. Да мы двое... Мы с сынишкой, если можно.

– Можно, – несколько барственно сказал администратор. – Мы для кого работаем? Мы для народа. Прошу.

А народа, кстати сказать, собралось довольно много в амфитеатре, широким барьером отделённым от арены цирка. Ребятишек – и это не удивительно – ребятишек было больше, чем взрослых. Глухой, сумбурно клубящийся шум и гам стоял под куполом, где висели пустые серебристые трапеции. Сорочья трескотня нарядных девчонок, мальчишек трещала то там, то сям.

Храбореев сел на своё место, а рядом – пусто.

– Свободно? – спросил кто-то под ухом.

– Нет! – Антоха показал контрамарку. – Сейчас придут...

Он волновался всё больше и больше. Атмосфера цирка, она всегда волнительная, всегда какая-то особая, приподнятая. Душу ребёнка и взрослого, сохранившего детство в ду-

ше, волнует не только тайна и загадка будущего представления. В цирке волнует сам воздух, в котором невнятно, но всё-таки явственно ощущается запах дикого, хотя и одомашненного зверья, томившегося где-то в клетках за кулисами. Здесь чувствуется тонкий аромат круглой арены, где песок и опилки взрыты коваными копытами дрессированных лошадей, выполнявших всякие забавные штуки во время конной вольтижировки и акробатики.

Но сейчас Храбореев волновался ещё и потому, что пустое место рядом с ним – оно ведь не было пустым. Там сидел сынок, восторженными глазами смотрел на работу лошади и льва, на изящную работу «Северка» – дрессированного медвежонка, лихо катающегося на велосипеде и таскающего царскую корону на башке.

Амфитеатр хохотал над проделками лошади и дрессированного Северка. И Храбореев хохотал – сквозь слёзы. Интересно было то, что на протяжении всего представления Храбореев больше смотрел не на арену, а куда-то рядом – сначала на пустое место, а потом на четырёхлетнего чужого огольца, неподалёку сидящего между отцом и матерью. И при этом глаза Храбореева как-то странно сияли. И веселился он довольно странно, не естественно. Размазывая слёзы по щекам, он сидел всё время как на иголках – возбуждённый, излишне радостный. Сидел и поминутно косился – наблюдал, с каким удовольствием чужой кудрявоголовый парнишка смотрит на арену, каким колокольчиком он громко зали-

вается, потешаясь над проказами косолапого циркача. А потом – под конец представления – парнишка-сынишка неожиданно загрустил. Ему, сынишке – ну, и Храборееву, естественно – им жалко стало замордованного «царя зверей». И тогда у Антохи появилась идея: надо будет после представления купить поллитровку, подпоить седого, глуховатого сторожа и выпустить на волю «Северка».

Так он и сделал.

Работники цирка его поймали, чуть не прибили около раскрытой клетки.

## 10

Зима пришла, поставила могильные холмики на берегах и под окнами. Особенно неприятно в предрассветных сумерках или вечерами смотреть на эти холмики – чернеют как земляные, да ещё и звёздочки на них мерцают, наводят на печальную мысль. Глаза бы не глядели на эти холмики.

Антоха дом забросил. И рыбалка, и охота – тоже побоку. Он устроился на завод. Поднимался рано утром, разогревал легковушку и, свирепо газуя, выскакивал на трассу, продуть ветром, но кое-где перепоясанную ночными застругами. Не сбавляя скорости, он летел на тарана – заструги взрывались молочно-серебристыми осколками, на капот черёмуховым цветом падали, на лобовое стекло.

На заводе нередко стал задерживаться по вечерам, а ино-

гда и за полночь – во вторую смену оставался. Храбореев был теперь не просто токарь – универсал, умеющий работать на всех токарных станках. Он пытался измотать себя работой – не мог измотать. Организм достался – крепче лошадиного. Домой он возвращался нехотя. Еле-еле тащился. А навстречу со свистом, с яркими, словно праздничными огнями пролетали многотонные фуры – чаще всего заграничные, аляповато раскрашенные тягачи с прицепами. Глядя на эти шумные и яркие автопоезда, Храбореев ловил себя на мысли заделаться шофёром-дальнобойщиком, чтобы вот так вот ехать и ехать куда-нибудь в ночи, зная, что там тебя ждут, а потом обратно – тысячи и тысячи морозных километров. А вслед да этой мыслью приходила другая: бригадир на заводе говорил о том, что на работу приглашают квалифицированных строгальщиков; вахтовый метод работы где-то под Свердловском; приличные деньги...

Дома с женой почти не разговаривали. Не враждовали, нет, а просто так... Да и о чём тут было говорить, когда у неё на столе – стопки самых разных ученических тетрадок, над которыми она сутулилась, проверяя; а у него на столе – в другом углу комнаты – железная мелочь от токарных станков; холодные блестящие детали, которые он выточил для сердца легковушки.

Когда он приходил домой и умывался, переодевался – Марья спрашивала:

– Есть будешь?

– Неохота.

А потом – часа через два – жена вставала, закрывала тетрадки, выключала настольную лампу.

– Ну, я пошла. – Она зевала. – А то мне рано завтра.

– Иди, конечно. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Вот и весь разговор – как в той песне.

Просто встретились два одиночества,  
Развели у дороги костёр,  
А костру разгораться не хочется,  
Вот и весь разговор.

## 11

Ночами не спалось. Он продолжал искать вчерашний день на заснеженном берегу. Не сказать, чтобы эта зима отличалась какой-то особой злостью – в Тульской области морозы вообще зубы редко показывают. Самая низкая температура, дед когда-то рассказывал, в области была в январе 1940 года на метеостанции в Егнышевке – минус сорок восемь придавило. Странно было то, что Храбореев давным-давно уже не вспоминал о покойном деду, в молодости работавшем на метеостанции, а вот теперь... Теперь Антоха то и дело думал, что на дворе сейчас – как в том сороковом году в Егнышевке.

Холодно было искать. Страсть, как холодно. Причём никаких внешних признаков зверского холода не было – деревья не трескали, кусты не куржавели, и ноздри не слипались от выстывшего воздуха, когда он спиртом обжигает гортань и грудь.

Поглядывая по сторонам, Храбореев думал, что это холод не природный – нутряной, душевный, личный холод. Это на личном термометре у него – минут сорок или даже пятьдесят. И чем тут согреешь своё мирозданье, свой космос, мерцающий льдами созвездий? Антоха не знал.

Он изредка палил костры на берегах, согревался выпивкой и, запрокинув голову, шарил глазами по небу. Вот Большая, а вот Малая Медведица. А вот – Полярная звезда, небесный Кол, вокруг которого всё небо вертится...

Голова, хмелея, тяжелела. Он в землю смотрел. В тишине мерещился детский голосок, звал и манил куда-то. Однажды ночью Храбореев взял пешню и лом, пошёл на голос...

Аркаша Акарёнок – коренастый сосед – под утро забарабанил в окно.

– Манька! Вставай! Утонет к лешему!

– Кто?.. Что?..

– Да твой чудит...

– Он? Опять? О, господи...

– Не опять, а снова... Шевелись!

Марья впопыхах оделась. Побежала, проваливаясь в большие сугробы – зима была снежная, мягкая. Среди берез уви-



дела она чахлый догорающий костер, издалека похожий на скомканный цветок.

Муж сидел возле огня, сушился, зачарованно глядя на пламя. За ночь по льду он ушёл далеко. Провалился где-то и промок.

– Антоша, ну чего ты здесь? – Марья говорила кротко, нежно. – Пойдем домой.

Он помолчал. На небо посмотрел.

– Хорошо поработал сегодня, – доложил он так спокойно, будто смену на заводе отломал. – Завтра надо повкалывать на том краю...

Марья поглядела по сторонам. Уже обутрело. С десяток прорубей курились на морозе.

– Пошли, родной. Пошли.

Он погрузился в молчание. Сидел без шапки, без рукавиц.

Босые ноги выставил к костру. Сидел на прибрежной березе, поломанной снегом. На сучьях сушились портянки, шерстяные носки. Кругом валялись мятые и жеванные «отстрелянные» гильзы папирос. Густая кровь с ладоней сочилась, – пешней да ломом кожу изодрал до мяса.

– Обувайся! – Марья нахлобучила шапку на него. – Будем вещи собирать, Антоша. Поедем отсюда. Поедем, миленький.

Он сердитым взглядом царапнул Марью.

– Я не поеду! – заартачился. – Нет!

Жена руками развела.

– Вот те раз! Ты же сам говорил, надо ехать...

– Мало ли что говорил. Мне и здесь хорошо. Надо ещё тот край проверить. Там изба должна быть.

– Какая изба?

Он помолчал. Загадочная улыбка тронула губы.

– Ты помнишь русский город Китеж? Тот, который затонул...

Марья смотрела на него – не узнавала. Копчёное, «горелое» лицо Антохи странно посветлело, изнутри озарённое светом болезненной радости и той необъяснимой Божьей благодати, изведав которую, человек ищет дорогу в церковь.

## 12

Золотые купола издалека притягивали взор – город не большой и не высокий. Антоха всё чаще обращал внимание на Божье золото, горящее под облаками. Шагал по улице, шагал – и останавливался. Завороженно смотрел на купола, крестился, кланялся. Временами приходил на службу в церковь, озарённую десятками и даже сотнями свечек, стоящих возле древних иконописных ликов, растрескавшихся от времени, точно покрытых глубокими морщинами. Какие-то набожные старушки, сухие и опрятные, шикали на Храбореева и смотрели далеко не ангельскими глазками – сердито смотрели, сурово, как будто заранее видели в нём богохульника. В эти минуты он ощущал себя униженным, никчёмным, сго-

рающим от стыда своей тупости: не знал, куда поставить свечечку за здоровье, куда – за упокой, не имел понятия, как тут руки держать, где тут лучше остановиться, чтобы святым отцам не помешать во время службы. В эти минуты ему хотелось демонстративно надеть фуражку прямо перед иконой, громко хлопнуть дверью и навсегда забыть дорогу в эту сердитую церковь, где отовсюду на тебя по-змеиному шикают благообразные сухие старушечки.

Однако понимал он – это в нём гордыня говорит. Терпел, выслушивая нравоучения. Согласно качал головой.

Иногда он беседовал со священниками.

Один из них как-то обмолвился:

– Видно, Божий промысел таков! Ушла невинная душа младенца, чтобы вечно жить на небесах. Может, потому-то и ушла, что на Земле ей делать нечего.

– То есть как это – нечего?

– Может, мальчик слишком мудрый для земного бытия. Бывают такие. Бог забирает их на небеса, на ангельскую службу.

Это немного утешало Храбореева. И утешало, и наполняло чувством горькой гордости; не каждому дано быть родителем ангельской, мудрой души. В церковной ограде всегда было много старух и стариков совсем другого толка – эти не шипели на него, не учили, как тут себя вести; глаза их не сверкали алмазным гневом.

Храбореев с ними беседовал о Боге, о церковных празд-

никах. Спрашивал, когда и как нужно поминать усопшую душу. И там же, в церковной ограде, он услышал один рецепт – это уже касалось женского бесплодия.

В глазах у него загорелась надежда.

«А почему бы и нет?!»

Ему нужно было съездить в деревню – найти кое-что для рецепта. А машина, как назло, зафордыбачила – то ли карбюратор, то ли что-то ещё. А душа у него загорелась – неохота с машиной возиться, а поскорее охота проверить, как тот рецепт подействует на жену.

Решил идти пешком – не шибко далеко.

## 13

Проснувшись раным-рано, Храбореев украдкой вышел за порог, поёжился и передернул плечами. Зябко. Вся поляна кругом избы обсыпана серебристым горохом – роса зеленоватая, ядреная. В туманах за озером зацвело неяркое солнце. Отражённый свет вдали – на воде под берегом – подрагивал золотым лепестком. Птица под сурдинку позванивала в зарослях, приветствуя новый денёк. Зеркальная гладь неожиданно разломалась: рыба неподалеку от берега хвостом шарахнула. Язви тебя! Глаза у Храбореева полыхнули радостью, и душа вспылала азартом. Забывая, зачем он поднялся так рано, Антоха лопату взял, расковырял жирную землю под липами. Черви длинными шнурками уплы-

вали из-под пальцев. Храбореев, увлекаясь, накидал червей в стеклянную банку. Удочку схватил и рысью побежал – по дымчатой, сизой траве. Нарядный цветок на пути повстречался. Антоха почти наступил на цветок, но в последнее мгновение – нога благоразумно скользнула в сторону. Он покачнулся и едва не упал. Банка с червями взлетела над головой – раскололась, попав на камень, прикрытый лопухами. И в тот же миг в деревьях и в кустах произошёл переполох.

Чёрная крупная сова – неясить, – пролетая над кустами, громко захлопала крыльями. А вслед за ней – испуганные громкими хлопками – всякая мелочь из укрытий брызганула, тонко пища и взахлёб вереща.

Антоха вздрогнул – будто проснулся. Брезгливо посмотрел на расползающихся червей, на удочку в своей руке. Бросив удилище в траву, отвернулся от озера и медленно побрёл по бездорожью, местами утопая в тумане – по колено и по грудь.

В ближайшую деревню он шагал по старой просёлочной дороге. Перелески попадались на пути. Просторные поля. Он останавливался в тихом и чистом раздолье. На глазах его подрагивали слёзы, когда смотрел на тёплую краюху ржаного солнца. Зажмуриваясь, подолгу слушал хлебные колосья, под ветерком плескавшиеся возле дороги. Иволга подавала голос в перелесках, кукушка.

Храбореев вошёл в деревню. Увидел первого встречного и сказал, приветливо улыбаясь:

– Доброе утро, земляк! Подскажи, у вас кобыла в колхозе есть?

Черноволосый и черноглазый «земляк», в котором угадывалось что-то цыганское, настороженно посмотрел на чудача – брюки по колено мокрые от росы.

– А жеребец тебе не подойдет? – спросил, ухмыляясь.

– Нет, жеребец не подойдет.

– А баба?

– Что – баба?

– Ну, может, сказать адресочек вдовы?

– Мне без разницы, – простодушно согласился Храборев. – Лишь бы у неё была кобыла.

– Опять двадцать пять! – удивился «земляк». – На кой хрен тебе сдалась кобыла?

– Надо.

Цыганистый мужик покачал смолисто-кудреватой головой.

– Ну, иди к председателю. А лучше – прямо к конюху.

## 14

Слухи о том, что он ищет кобылу, вскоре дошли до жены. Марья как-то под вечер встретила его – усталого, голодного, пришедшего с очередного поиска. (Работу на заводе Антоха бросил – уволили за прогулы.)

Обнимая мужа, Марья заплакала, думая, что он маленеч-

ко того...

– Да как же так, Антошенька? Да что это с тобой? – Она запричитала мокрым, срывающимся голосом. – Да зачем тебе сдались эти кобылы?

Он угрюмо послушал её, глядя в пол, где блестела слезинка на шляпке гвоздя, затёртого до серебра.

– Всё нормально! – грубовато успокоил. – Не кобыла мне нужна. Я ищу кобылье молоко.

– Зачем оно тебе? Что ж ты молчишь? – допытывалась Марья. – Я ведь сердцем чую, что ты скрываешь. Не договариваешь...

– Тебе скажи, так ты... – пробубнил он, отворачиваясь. – Ты же учительница у нас. Грамотейка.

– А причём здесь учительница?

И он опять замкнулся, не хотел секрета выдавать. Кобылье молоко должно было помочь от бесплодия, если верить народной молве. Надо было жене (только чтобы не знала) давать кобылье молоко по чашке в день. А ещё, сказала колдунья-знахарка, живущая на дальней оконечности Колдовского озера, – надобно жене носить на шее махонький шарик из порошка оленьего рога, смешанного с коровьим помётом.

«Олений рог? – Антоха крепко задумался, сидя на крылечке после ужина и верхней губою пытаюсь дотянуться до носа. – Олений рог... Олений рог... На Север надо. Там полно оленей. И денег там навалом!»

В зеленовато-синих вечерних небесах вызревали звёзды –

серебряной сетью падали в озёрные глубины, зачернённые тенями береговых деревьев. И опять его глаза невольно тянулись к Полярной звезде, к тому поднебесному Колу, кругом которого как будто бы вращается вся вот эта необъятность мира.

– Поеду в Мурманск! – заявил он, вернувшись в дом. – Дядя Никон давно приглашал.

Марья поначалу отговаривала мужа, а потом согласилась.

«Пускай поедет, проветрится, а то уже совсем от горя почернел. – Жена вздохнула. – Всё равно остался не у дела. А жить на что-то надо. Может, заработает мужик. Может, в Москву поеду, подлечусь».

И Храбореев тоже думал о деньгах, когда первый раз летел на Север – сквозь дробовые заряды холодного злого дождя вперемежку с белыми картечинами снега. И только много позже он осознал, что полетел не за деньгами – за судьбой.

Никто из нас не знает своей судьбы, и слёзы горя могут стать слезами радости.



# Ветер

## 1

Кольский полуостров – вотчина древнего Солнечного божества по имени Коло – оказался далеко не солнечным. Проливные дожди нещадно полоскали Мурманск, тугими прутьями хлестали по скулам серых домов, по садам, по сопкам, окружившим город. Дождинки со скоростью пули шарахаясь оземь, а точнее об асфальт – отчаянно подпрыгивали, точно пытались обратно заскочить на дождевую тучу... Капля за каплей собираясь в ручейки и ручьи, вода бурлила, стремительно скатываясь куда-то в сторону залива – через овраги, балки. Попадая в капканы и ловушки железобетонных колодцев, вода бесновалась. Мутная и грязная – попеременно с газетной рванью, мусором и листьями – вода взаперти бунтовала так, что приподнимала и сворачивала в стороны чугунные шляпы, которыми были прикрыты колодцы городской канализации. Там и тут на дорогах возникли коварные дыры, из которых буграми валила вода, словно кипела где-то в преисподней.

В такую дурную погоду Антон Храбореев решил взять такси – доехать от вокзала до дома профессора Усольцева. Хотел, как барин подкатить, и вдруг...

Такси передним правым колесом влетело в мокрую пасть раззявленного люка. Шофёр, успев ругнуться, грудью стукнулся о баранку, а пассажир лобовое стекло едва не выбил своим лобешником.

Мотор заглох, машина чуть накренилась. И частый крупный дождь по крыше стал ходить – как жеребец подкованный.

– Приехали! – подытожил таксист, потирая ушибленную грудь. – Там, наверно, и тягу рулевую оборвало, и гранату... Мать перемять!

Какое-то время они понуро сидели в машине, курили, пережидая кромешный ливень.

– И часто у вас такое? – спросил Антоха.

– Бывает... – Водитель выстрелил окурком в приоткрытое окно. – Скоро пройдёт. Видишь, там...

Кучевые облака светлели где-то над просторами Баренцева моря. И начинали редеть грозовые чёрно-фиолетовые тучи, окружившие Хибины – самые высокие горы Кольского полуострова.

По мокрому асфальту впереди вдруг покатались золотые пятки – солнце проблеснуло.

– Ну, что? – Храбореев усмехнулся, глядя на водителя. – Тебе тут загорать, а я пойду на автобус.

– Давай...

Антоха достал кошелёк.

– Сколько я должен, браток?

– Перестань. – Водитель поморщился, трогая ушибленную грудь. – Мы же только отъехали.

## 2

Профессора Усольцева дома не оказалось. Он был человеком непоседливым, неординарным – этот «заполошный» дядя Никанор. В молодости – будучи моряком – он почти всю Землю обогнул на пароходах. Потом с археологами что-то искал, копался на Кольском полуострове. Потом остепенился – ученую степень обрёл. Книжки стал писать о Русском Севере, и частенько уезжал в командировку.

Антоху встретила жена профессора – Виктория Витольдовна или просто Вика. Вот она-то и «обрадовала» с порога, сказала, что дядьки нет.

– А он телеграмму мою получил? – растерянно спросил племянник, стоя в прихожей.

– Да. – Виктория Витольдовна смотрела открыто, прямо. – Он просил, чтобы вы непременно дождались. Проходите... Снимайте одежду... Промокли?

– Есть маленько.

– Я вам сухое бельё сейчас дам.

– Не надо. Всё нормально. Что я – сахарный?

– Сейчас я чайку приготовлю. Согреетесь.

Храбореев, оставляя мокрые следы от носков, осторожно прошёл на кухню. Сел за стол. Головой покрутил. Какие-то

«засушенные кости» желтели на стене – в деревянной рамке. Светло-синий, словно бы ошипанный петух раскрылатился на фарфоровой доске возле окошка с левой стороны.

– А надолго у него командировка? – тоскливым голосом спросил приезжий.

– Теперь уж скоро должны вернуться...

– А куда он укатил?

– Гиперборею ищет.

Антоха постеснялся спросить, только подумал: «Что за хреновина такая? Гипер...бодрее?»

Приподнявшись, он ногтем пощёлкал по фарфоровой доске с петухом.

– Разделочная, что ли?

– Доска-то? Ну, да.

– А что на ней разделаешь? Она же вмиг рассыпется.

Виктория Витольдовна улыбнулась – ямочки по щекам заиграли.

– Декоративная. Для красоты. Работа мастеров из Палеха.

Храбореев промолчал, но видно было, что работа этих мастеров ему как-то не очень...

– А вот эти вот засушенные кости? – серьёзно спросил он, глядя на рамку. – На чёрный день тут, что ли, приберегаете?

Жена профессора захохотала.

– Никанор мне говорил, что вы шутник... – Она пододвинула чашку. – Ну, давайте, поближе, поближе... И посмелее... Угощайтесь, Антон, налегайте. Вы же с дороги. Вам

там удобно?

– Нормально.

– Да нет, я вижу, как вы ногами в стол упираетесь. Вы вот сюда, пожалуйста. Тут вам будет удобней.

В недоумении пожав плечами, Антоха перебрался на другую сторону стола и при этом едва не опрокинул чашку с супом – из чашки брызнуло...

– Ну, ёлки! – Он смутился. – Где тряпка?

– Ничего, я сама... Вы попробуйте. Как насчёт соли?

– Да всё путем, – пробормотал Храбореев. – Недосол на столе, пересол на спине.

– Как вы сказали? – Карие глаза хозяйки озарились полудетским изумлением. – Ой, как здорово!

– А что? – в свою очередь изумился Антоха. – Не слышали? Отец у меня так всегда говорит.

– Вы ешьте, ешьте... Как насчет температуры?

– У кого? У меня? Да нормально.

– Нет. Как я подогрела? Хорошо? Или, может, ещё?

– В самый раз.

– Вы говорите, говорите, не стесняйтесь. А то я Никанору погрею, а он...

– Да нет, всё путём, – хмуро сказал Храбореев, начиная терять аппетит.

Виктория Витольдовна – младший научный сотрудник – оказалась бабёнкой приветливой, но беспокойной до ужаса. Беспокойной и энергичной. Очень уж хотелось ей угодить

дорогому гостю, чтобы ему было сытно, уютно и приятно в доме дяди Никона. «Профессорша» бегала по дому с тряпкой, подтирала. Потом включала пылесос, который был при этом на такой заунывно-отчаянной ноте, как будто нервы на кулак наматывал. Потом хозяйка фартук надевала и вдохновенно суежилась на кухне: что-то варила, жарила и стряпала. Потом она рубаху чуть ли не силком содрала с Антохи – стирать. Потом носки потребовала.

«Придётся босиком бежать отсюда!» – невесело подумал Храбореев и, прихвативши профессорский зонтик, пошёл бродить по городу, изучать окрестности. Это он любил.

### 3

Город Мурманск, а точнее Романов-на-Мурмане – так назывался он тогда – оказался последним городом, основанным в Российской империи. Через полгода после революции это был уже Мурманск. Пустивший корни на скалистом восточном побережье Кольского залива, город пошёл разрастаться вдоль берега – одно крыло расправил в сторону моря, а другое в сторону материка. Первые дома здесь были – точно так же, как в большинстве молодых советских городов – элементарные деревяшки. Унылые, серо-зелёные, тюремно-барачного типа. Новые дома, конечно, тоже были – каменные туши поднимались там и тут. И вот что интересно: там и тут видны сады, палисадники, в которых полно берёз,

одетых в красновато-желтые осенние платья. Рябины там и тут краснели, под ветром тугими кулачками постукивая по заборам.

У Храбореева это вызывало недоумение. Мурманск, этот крупнейший в мире город, находящийся за северным Полярным кругом, в глазах новичков создавал несколько обманчивое представление о Заполярье. Он смотрел на осенние листья, на красное мокрое мясо рябин, пожимал плечами и усмехался: «Ну-у, дядя! Зря только пугал! В таком-то Заполярье – чего не жить».

Он полюбил приходить на причалы. Душа замирала, когда Храбореев смотрел на большие красивые пароходы, впаянные в зеркало залива. Большая красивая жизнь чудилась ему на пароходах. Даже не на них самих, а там – откуда они пришли, куда опять уйдут, поднявши якоря. Запах моря, острый запах рыбы несказанно волновал Антоху. Он сидел в пивной – с хорошим, картинным видом на корабли. Пивко сосал, водчонкой душу баловал. Голова приятно чугунела. Стихи всплывали в памяти: «Каждый день я прихожу на пристань, провожаю тех, кого не жаль...»

Храборееву тоже хотелось уплыть – куда подальше. И он с какою-то сосущею тоскою вдруг подумал, что рано женился. Не перебродила в нем дурная кровь. «Может, моряком пойти? В торговый не возьмут, не протолкнешься, там народ в загранку ходит, большими деньгами ворочает. А на траловый нужны ребята, там надо пахать...»

Так однажды вечером сидел он возле окна, скучал. Смотрел, как дождь гвоздит по подоконнику – серебряными звонкими гвоздями. Прохожие скользили по мокрому асфальту. Изредка падали. Ветер подхватывал зонтики – будто крупные тряпичные цветы – теребил, закидывал в кусты. Один какой-то дурик побежал за своим «черным тюльпаном». Чуть под машину не попал. Легковушка резко затормозила. Резина противно заныла, досуха вытирая мокрый асфальт. Раздался приглушенный удар – и над капотом легковушки закудрявился пар из пробитого радиатора. Дурик, тот, что гнался за черным зонтиком, исчез куда-то. Разъяренный водитель выскочил. Растоптал ногами «черный цветок», лежавший неподалеку. Вскинул руки в небо и что-то прокричал. Присел, посмотрел на поломку. Легковушка свернула железное рыло о бетонный четырехугольный столб. Мотор не заводился. Водитель плюнул и пошел в пивную.

– Это не Кольский – это Скользкий полуостров, – сказал ему Антоха, когда водитель взял пиво и уселся – напротив.

– Да я бы ему ноги вырвал!

– Кому?

– Козлу тому... с черным зонтиком. – Водитель был – кудрявый здоровяк. Пивная кружка смотрелась как наперсток в костлявой волосатой лапе.

Разговорились. Здоровяка звали Софроном.

– Ну, и сколько ты будешь дядьку своего дожидаться?

– А что?



– Есть идея! – Софрон пустой пивною кружкой пристукнул по кудрям. – У меня весь чердак завален идеями! Ты знаешь, что такое Русская Лапландия?

– Слышал. Дядька рассказывал.

– Поехали. Работа есть.

– А кем я там буду работать?

– Дедом Морозом... – Софрон засмеялся. Он был языкастый, умел уговаривать. Нарисовал такую перспективу – коммунизма не надо.

Храбореев слушал, слушал и согласился.

– Чёрт с тобой! Поехали! Только давай ещё по сто. На пошок.

– Замётано! Люблю рискованных! – похвалил Софрон. – Сейчас я другу позвоню. Пускай он эту колымагу... – Здоровяк глазами показал на разбитую легковушку, – пускай заберёт и поставит в гараж. Некогда возиться. Я лучше новую себе куплю.

## 4

Рыбацкая артель затерялась где-то у черта на куличках – в дремучей, непролазной северной тайге. Добраться до Русской Лапландии, находящейся у берегов Ледовитого океана, оказалось делом сложным. Непогода придавила все вертолёт к земле. А шторм, разыгравшийся на реке, трое суток держал все суда на приколе.

Прибрежный посёлок стоял на реке. Серые мокрые домики. Старая пристань. Якоря. Ржавые канаты – в локоть толщиной. Деревянное здание речного вокзала.

– Подожди, – сказал Софрон. – Пойду, попробую договориться насчёт катера.

Антоха стоял у окна. Удивлялся: «Вот уж никогда бы не подумал, что на реке может быть такой штормяга!»

Ветер выворачивал тёмные волны – белой изнанкой. Седая шерсть летела шматками над водой, стелилась по кромке берега. Кусты и деревья поднимали ветки кверху – сдавались на милость ураганному ветру. Красный флаг на мачте парохода, стоявшего на рейде, разлохматило по краям. Молодёнький моряк вышел на палубу. Ветер фуражку содрал с головы – швырнул за борт. Волны раззявили пасть – проглотили фуражку и отплюнулись бешеной белой пеной.

Антоха усмехнулся, наблюдая за моряком, двумя руками обхватившим «пустую» голову.

Сверху – с потолка – слетело перышко, плавно качаясь в воздухе. Воробьи и голуби, спасаясь от непогоды, проникли на чердак речного вокзала. Воркуя и чирикавая, летали, садились на пыльную убогую люстру, напоминающую стеклянные рога оленя. Один какой-то «голубь мира» неожиданно вылетел на улицу. Промелькнул перед окном. Ветер подхватил его и шарахнул о телеграфный столб. Серой скомканной тряпкой голубь упал на асфальт. Теряя перья, покатился по лужам, перевалился через бордюр. Проехал грузовик – и на

дороге осталось только мокрое алое пятно.

Храбореев брезгливо скривился, отворачиваясь от окна. И вдруг – непонятно зачем – заставил себя выйти на крыльцо. Ветер пытался повалить его, толкая то в грудь, то в спину. Храбореев, широко раскорячившись, стоял – как памятник. Ветер на мгновение ослаб, точно попятился. И Антоха засмеялся, глядя вверх. С крыши речного вокзала ветер пытался сорвать плохо прибитый жестяной лоскут. Жестянка билась о деревянные ребра стропил, взвизгивала, будто живая. Тревожно было; казалось, и тебя – как того голубка – подхватит под крылья, потащит по асфальту, приподнимет и ахнет – только мокрое пятно останется. И в то же время сердцу было хорошо. «Давай, давай! Посмотрим, кто – кого!» Храбореев, прищурившись, глядел вперед с мальчишеским задором и отчаяньем. В груди натягивалась тонкая звенящая струна.

Ему пришёлся по душе этот борей – северный бешеный ветер. Понравилась кипящая река, низкое небо, лохматыми лапами хватавшееся за горы. Понравился даже неприглядный северный поселок. Серый, скучный, ободранный какой-то; придавленный величием дикой природы, привлекавшей романтиков, бродяг, поэтов, искателей приключений и длинного советского рубля.

Север, как ни странно, приглянулся ему – своим свирепым гостеприимством. Храбореев, кажется, давно уже подспудно искал для души нечто подобное, чтобы почувство-

вать себя крепким мужиком.

На речном вокзале в тихом уголке сидела старая женщина.

Рядом – на узлах, на телогрейке – лежал парнишка. Подойдя поближе, Храбореев услышал дивный северный сказ, похожий на колыбельную песню. Женщина рассказывала русоголовому мальчику про какую-то могучую птицу-бурю, сказочную птицу, живущую на «море-океяне». Большая птица, с железным носом, медными копытами. Птица-буря крыльями своими поднимает сумасшедший ветер...

## 5

Сильный ветер подхватил его! И понесло, помчалось, показало Антона Храбореева по землям и водам Русского Севера. И он потом неоднократно вспоминал печального поэта, может быть, случайно, а может быть, и нет оказавшегося уроженцем Русского Севера. Гонимый жизнью, поэт вздыхал:

**Как будто ветер гнал меня по ней –  
По всей земле – по селам и столицам,  
Я сильный был, но ветер был сильней,  
И я нигде не мог остановиться!**

Через полгода Храбореев покинул Кольский полуостров. Уехал в Архангельскую область. Вкалывал на озерах, на ре-

ках. Рыбу ловил, древесину сплавливал. Так продолжалось года три. Он зашибал добротную деньгу, выпивал на радостях и посылал куда подальше тот промозглый Север. Жил какое-то время на родине, в Туле. Затем опять душа зудела и звенела, звала в дорогу. И Храбореев уже стал догадываться: дело не в деньгах. В Туле тесть нашел ему прекрасное местечко. При окладе, при власти. При теплом унитазе. Отказался. Поехал на Север, даже сам удивлялся: неужели правда Полярная звезда – небесный Кол, вокруг которого все на свете вращается?

За три года странствий он посетил много прекрасных и печальных уголков Русского Севера. Был в тех местах, где затравленные церковью и властью старообрядцы годами прозябали в ледяных могилах северных острогов, перебиваясь день за днем крошкой хлеба да глотком воды. На северной реке Пинюге видел остатки разрушенного старообрядческого скита. Кое-где перед избами ещё стояли восьмиконечные листвяжные кресты, казавшиеся металлическими – топор отскочит, если рубануть. Рукой снимая занавеску паутины, Храбореев заходил в сумрачные сени, где стояла вековая домовина, приготовленная к смертному часу. В избе висели медные потускневшие складни, кожаные чётки. И в той загадочной дали сердце Антохи обжигалось диковинным чувством родства. Как будто он здесь жил когда-то. Как будто здесь – его далекая прародина.

В Мурманске, встречаясь с дядей Никанором, племянник затевал разговоры о Севере; в нём пробуждался живой интерес.

Однажды поехали поохотиться на озера. Наблюдая за птичьими караванами, Антоха сказал:

– Интересно, и чего они, как дурные, каждую весну летят на Север? Ну, человек – понятно, за деньгами... А птица? Сидела бы на юге, брюхо грела.

– Генетическая память, – ответил профессор Усольцев. – Генетическая память гонит птичьи стаи на Север.

– Что за память такая? – Антоха не совсем понимал заушный язык «остепенившегося» дяди Никанора.

Профессор привел пример.

– Возьмём тебя, или меня. Оба мы родились в деревне. Так? Мы помним деревенский дом. Теплый, добрый, бревенчатый. Там было хлеба полно. Там была материнская ласка. Сказки. А затем пришли другие времена. деревенский дом сломали. Сровняли с землей. А вместо него – построили каменный дом. И теперь тебе, Антоха... или мне... Теперь нам незачем туда лететь. И далеко. И накладно – билет дорогой. Но память, память, милый мой племянник! Генетическая память говорит нам: ах, как было в той избе нам хорошо, какое счастье мы там испытали! И мы с тобой, Антоха,

собираемся и летим за тридевять земель. Вот какая штука получается!

Пример был убедительный. Доходчивый.

Храбореев задумался. Верхней губой до носа дотянуться попробовал.

– Дядя, ты хочешь сказать, что на Севере было когда-то тепло, уютно?

– Это не я говорю, дорогой мой. Это доказано учеными. Раньше климат Арктики был мягким. А Северный Ледовитый океан был теплым. Правда, очень давно. Пятнадцать или тридцать тысяч лет до нашей эры.

– Ну-у! – засмеялся племянник, перезаряжая двустволку. – У меня такие цифры в башке не помещаются.

– Поместятся, если будешь этим вопросом интересоваться.

– Меня пока другие цифры интересуют, – признался Антоха. – Зарплата.

– Ничего, это пройдет. Как золотуха.

– Думаешь?

– Да я уверен.

– Может, и пройдет, а пока... – Храбореев посмотрел в заманчивую даль. – Хочу рвануть в Якутию.

## 7

Якутский дикий Север полюбился ему, как ни странно.

Буровые вышки, забурившиеся в недра вечной мерзлоты. Его поразили фантастические факелы, бесконечно греющие стылое небо, чтобы оно, «не дай Бог, не лопнуло, не треснуло по швам», как объяснял один электросварщик. Якутский Север много дал ему. И речь теперь уже не о деньгах. О душе. О крепости духа. Храбореев заматерел в Якутии. Здесь он впервые – в упор – глянул смерти в глаза.

– Ничего, симпатичная баба! – говорил позднее мужикам.

– Надо было под бочок подсыпаться! – Смеялись.

– К ней-то? Всегда успеется.

Хорошо жилось ему у нефтяников на буровой. Только бригадир попался нудный. С гонором. Бригадир Бадягин падкий был на подхалимов. Любил, чтобы ему «шнурки завязывали», кланялись. На этой почве Храбореев с ним поссорился однажды и послал бригадира – подальше. Бадягу этим не удивишь. В рабочей среде да на Севере матерками крепкими зачастую греются, как крепким чаем. Бадягу поразило и глубоко оскорбило другое.

Храбореев, перед тем как «посылать», рассказал всей бригаде нефтяников про дядьку своего, профессора Усольцева, который занимается загадками и тайнами Русского Севера.

На Кольском полуострове на Сейдозере есть огромная скала Куйвы. И там изображено какое-то человекоподобное гигантское существо... Мужики, представляете, какой у него инструмент? Слышь, Бадяга?

Нефтяники заржали. Бригадир стал бледнеть.



– Ты хочешь сказать, что посылаешь меня...

– Боже упаси! Бугор, ты про меня плохо думаешь. – И Храбореев продолжал: – А недавно ученые сделали открытие. На юге Австралии... Слышишь, Бадяга? Запоминай адресок. Там, пролетая над пустынным местом, летчик с высоты трех километров обнаружил фигуру гигантского существа... Рисунок, мужики, длиной в четыре километра.

– Ого! А какой же... Кха-кха... инструмент у него?

– Двести метров.

Нефтяники в красном уголке со стульев попадали (собрание было).

– Что вы ржете? – одернул Храбореев. А в глазах играли чертенята. Он посмотрел на бригадира. – Бадяга! Ну, теперь ты понял, куда нужно идти? На двести метров!

Мужики от смеха плакали. Тряслись.

Эти «двести метров» Бадягин ему не простил. Через месяц у Храбореева срезали премиальные. Антоха выпил и дал «в пятак» бригадиру, похожему на сытого борова. Драчуна уволили. Когда он уходил – бригада руку жала тайком и шептала: «Молодец. Хорошо припечатал». Храбореев без особого сожаления покидал буровую. К тому времени он уже освоился на якутском Севере. Перебрался в бригаду газовиков. Голова и руки у Антохи были на месте, работы никогда не боялся. Газовики зауважали, стали звать по имени-отчеству.

– О! Так вы – Северьяныч?! – воскликнул молодой конопатый мастер участка.

– Ты так обрадовался, будто встретил родню!

– Северьяныч, – улыбался конопатый, глядя поверх очков, – это вроде бы как... настоящий, северный человек.

– А ты сомневался?

– Нет, но когда увидишь документ, – отшучивался мастер, – доверия все-таки больше.

Храбореев поймал на слове:

– Если доверия больше, так и денег должно быть побольше.

– Так-то оно так. Можно было бы вас, Северьянович, поставить старшим в вашей смене, но... – Конопатый сквасился и развел руками. – Вы вот, например, не партийный.

– А я вступлю! – пообещал Храбореев. – Мне что в партию вступить, что в г...

Мастер сделал вид, что не услышал богохульства.

– Да к тому же, говорят, вы неженатый.

– Брешут! Я – неоднократно холостой, – сообщил Храбореев.

Мастер снова поглядел поверх очков.

– Первый раз такого вижу...

Ему, «неоднократно холостому», несладко приходилось без жены. Всё думал, всё надеялся Марью подтянуть на Север. Она была не против, только жить, увы, негде. Насчет квартиры – глухо. Сам Северьянович кантовался в балках, вагончиках. Даже в туристических палатках – летом в тайге. Деньги он регулярно Марье высылал. Письма изредка цара-

пал. Напоминал о Москве, о клинике, в которой надо подлечиться. Но Марье было некогда – пропадала в школе. И Храбореев стал понемногу злиться на неё: «Что тебе – школа дороже? Или здоровье? Годы уходят. Скоро вообще родить не сможет».

Душа у него остывала к Марье. Может, Север остужал любовь, а может... трудно разобраться. В общем, стал он присматриваться к незамужним девицам. А холостячки на Севере – к мужикам присматриваются. Так что там – кто кого «переприсмотрит». Игра для взрослых.

Шальные деньги позволяли нефтяникам и газовикам так «газовать» – северному небу временами жарко становилось. Храбореев и сам не заметил, когда у него изменилось отношение к деньгам. Сорил во хмелю – как бумагой.

\* \* \*

Бабником он не был никогда, поэтому нервничал, когда знакомился. Балагурил, старался казаться бывалым, тертым. Все ему нипочем, все «до фени и до фонаря». А у самого под жидкой бородашкой (недавно обзавелся) румянец помидором созревал. Трезвому было нелегко, а то и бесполезно заводить знакомство. А когда маленько засандалит – совершенно другой коленкор.

Будучи буровиком, он как-то забурился в ресторан «Простор». Увидел чернобровую молодую буфетчицу. Приобод-

рился.

– Куколка! Дай мне курятины. – Глазами на витрину показал.

– Какой курятины?

– Цыпленка-табака.

Буфетчица уставилась на него – как на новые ворота.

– Курево, что ли?

– Люблю догадливых! – Он откровенно рассматривал смазливую бабенку. Румяная. Сдобная. Жаром так и пышет, как деревенская печка, от которой пахнет щами и оладьями.

Северьянович был «ужаленный» стаканом чистого спирту.

Смелый.

– Как зовут?

– Евтихея.

Он цокнул языком.

– Тихая, значит? Тихее некуда?

– Не буйная.

– Это радует. Это, можно сказать, настраивает на лирический лад. Я сам – как птица-буря! А жена в избе должна быть тихая. – Он что-то вспомнил. – А ты случайно не с Биробиджана? Нет? А то ведь раньше Биробиджан назывался – станция Тихонькая.

– Может быть... Хи-хи... Не знаю.

Она ему строила глазки. А буровик строил из себя прожженного пижона. Воображаемый хвост распустил. Как глу-

харь на току. Забойчился.

– Тихея! Ты, как я понял, одинокая мадам?

– Вдова, – скромно улыбнулась буфетчица, сверкая передним рядом золотых зубов. – Муж погиб...

– Надеюсь, не в постели?

– На охоте.

– Это хорошо. Тьфу, что я говорю? Чего хорошего?

Тихея опять засмеялась – шире, громче и откровенней. И другие зубы у нее оказались отлиты из золота, заметил Северьянович. И сказал:

– Золотая моя! Мы же взрослые люди. Ты – холостячка. Я – неоднократно холостой! – Он пошлепал грязным сапогом по полу. Разрешите вас пригласить на вальс... Что вечером?

Какие планы, золотая? Когда и где встречаемся?

– Так прямо сразу? Быка – за рога?

– Корову, – улыбнулся он. – С вашего позволения.

И опять буфетчица засмеялась. Глуповато как-то. Неестественно. В глубине души это покорило Северьяныча. Но он же сам виноват: шутил бы поумнее – она бы и смеялась «поумнее». Так ведь?

– Вообще-то на сегодня у меня другие планы...

– Отставить! – Он решительно взмахнул рукой и вспомнил чью-то пошлую фразу: – Я подарю тебе небо в алмазах, а на большее ты не рассчитывай!

Вечером встретились. Храбореев приволок беремья «стек-

лянных дров». Бутылки нес в охапке, словно поленья. «Дровами» этими он собирался спалить остатки совести. Он ведь еще ни разу не гулял на стороне. Поэтому – слегка потряхивало, когда он пялился на загорелую грудь официантки – в большой разрез кофточки, на ягодицы, туго обтянутые юбкой. Гужевались до утра. Буфетчица Тихея – тихее некуда – радушно подливала и подливала. Предлагала звонкие, красивые тосты. И Храбореев в конце концов забыл, зачем пришел. Сломался, даже не добравшись до постели. Утром встал. Осмотрелся. Обшарпанная комната в общежитии газетчиков. Его, Антохи, комната. Голова – как чугунная гиря, только с глазами. Собрался похмелиться – в карманах пусто (после получки). Он позвонил в ресторан. Тихея сказала, что Антоха вчера вызвал такси и уехал к себе в общежитие. Говорила буфетчица скомкано, быстро. Некогда ей. Народ у прилавка толпится.

Стыдно и противно стало Храборееву. Припоминая подробности знакомства, он сначала покраснел, а потом белыми пятнами покрылся, как обмороженный. «Рванный» рубль занял у знакомых и пошёл, опохмелился. Кулаки отяжелели. И захотелось ему заявиться в ресторан, разгромить буфет к чертовой матери... И в то же время думалось: «Кто виноват? Сам искал приключений на задницу, вот и нашел. Успокойся. Сходи еще в милицию: так, мол, и так, баба опоила, обобрала... Муж у нее погиб! – Храбореев зло скривился. – Неизвестно еще, как погиб... Надо радоваться, что хоть жи-

вой остался! Деньги – черт с ними, заработаешь... Фраер! «Я подарю тебе небо в алмазах, а на большее ты не рассчитывай!» Подарил? Вот и сиди теперь, грызи сухарик.

Он оставил попытки познакомиться с холостячками.

Но через какое-то время ему повстречалась задушевная Люба Дорогина. Черноглазая застенчивая девушка с Валдая. Покусывая мундштук папиросы, он смотрел на жиденькие волосы девушки. Насмешливо думал: «Ах ты, милая валдайская овца. Шерсть не отличается хорошим качеством, но мясо – хорошее!»

Храбореев ёрничал. Смушался в глубине души. Верхней губой до носа дотянуться пробовал – привычка с детства, означающая крайнюю степень волнения. Он сам себе сказать боялся, что влюбился. «Прямо – как в кинe!» Перед Любой он уже не паясничал, не строил из себя пижона и сердцееда. Был сам собой и не стеснялся называть её валдайским колокольчиком – за звонкий чистый смех. Большеглазая Люба прописана была в женском общежитии. Северьяныч назначил свидание. Памятуя печальную встречу с официанткой, в гости он пошёл без денег, без выпивки. «Вот так-то, – ухмылялся, поднимаясь по лестнице. – Нечего с меня сорвать. Кроме трусов».

Жаркая ночь была. Очень звонкая. У Любы в изголовье находился подарочный набор валдайских колокольчиков. Упал с кровати, раскатился по всей комнате. А вслед за тем подарочным набором – чуть кровать не развалилась.

Утром Храбореев опоздал на вертолёт, развозивший рабочих по вахтовым поселкам.

«С этими бабами... — он разозлился в аэропорту. — Как свяжешься с ними, так обязательно что-нибудь...»

Слоняясь по аэропорту, не зная, как теперь быть, что предпринять, Храбореев встретил знакомого пилота. Покурили, поговорили.

— Добраться до посёлка? Можно. Только осторожно, — загадочно сказал пилот. — Если узнают, что взял постороннего — голову снимут с меня.

— А что уж так-то?

— Груз... — летчик сделал непонятную гримасу.

— Что за груз?

— Будешь спрашивать — точно останешься тут куковать.

— Всё. Я заткнулся.

Знакомый пилот пошел на выход.

— Иди к воротам. Там стоит машина. Скажешь — от меня. Садись и жди.

— А сколько ждать-то?

— Покуда рак не свистнет на горе! Тебе надо лететь или нет?

— Ну, о чем разговор?

— Полетишь. Только это... Зайцем полетишь. Не положено брать пассажиров.

Храбореев обрадовался:

— Мне хоть зайцем, хоть волком. Хоть чемоданом из кро-



кодиловой кожи... Мне бы только к ребятам попасть! Я же обещал им, ёлки... И проспал. Понимаешь, завел будильник, а баба выключила...

– Про бабу расскажешь потом. Бегом к воротам.

## 8

Полетели. А времечко было весеннее, снеговье по всему безграничному Северу так разгорелось, так располыхалось – зеркалом слепят, аж глянуть больно. Ручьи на пригорках верещать начинают. Туманы по утрам над горами пластаются. А по ночам ещё морозы давят – только треск стоит. Весенняя погода крутит, вертит, сама не знает, чего ей надо, как беременная баба.

Взлетели – всё было нормально, а через полчаса из-за перевала снежный заряд шарахнул. Как из пушки ударил. Видимость пропала – до нуля.

Вертушка на перевале зацепилась колесом за дерево. Ключула носом, упала. Но как-то так удачно пропахала по снежному склону – мягко проехала, не разбилась. Может, потому что высота небольшая – сильного удара не было. Но, тем не менее, вертолет развалился, будто карточный домик. И пилоты – им досталось больше других – без сознания оказались. И еще один мужик – сопроводитель груза – тоже без памяти свалился в сугробе.

Уже вечерело, морозило. Храбореев почти сразу прочу-

хался. «Надо срочно костер!» Подумать-то подумал, а ноги повредил – идти не может. Только ползком, да на карачках. Он осмотрелся. Запасные топливные баки с керосином были близко, как тот локоть, который не укусишь. Как добратсья до керосина? Черт его знает. Боковое окно кабины было разбито. Северьянович собрал осколки оргстекла. Потом какие-то мешки увидел на снегу. Поползал, наломал сухих ветвей. Распорол ножом мешок и в темноте не разглядел, что за бумажки. Да и некогда было разглядывать. Даже если это самые секретные государственные документы – плевать. Он обрадовался. «Бумага! Да много!» Потряхивая контуженой головой, Северьянович развел огонь. Нашел веревки, похожие на парашютные стропы. Обвязал сначала одного пилота – подтащил к костру, второго. Затем добрался до человека, сопровождавшего груз. Человек тот – по фамилии Дятлов, Дятел, как его звали – оказался щупленьким, легеньким и, судя по всему, не шибко пострадал. Как пушинка отлетел от вертолета, упал на хвойные ветки.

Дятел прочухался первым. Посидел возле костра, помахал надорванными крыльями – меховая куртка по швам разодралась под мышками. Глаза у Дятла мутные, и всё время шарят по сторонам, что-то выискивают. Протягивая ладони, греясь у огня, Дятел неожиданно повеселел. Запел:

В саду горит костер рябины красной,  
Но никого не может он согреть...

Он замолчал. И вдруг серьезным стал. Глядел, глядел в костер «рябины красной». Глаза расширились. Он ужаснулся, наблюдая за бумажками, корчившимися в огне. Пощелкивая клювом на морозе, Дятел что-то прошептал. Побледнел. Схватил себя за волосы и тихонько взвыл, запрокидывая голову к луне, восходящей над горами...

Северьяныч испугался: «Как бы этот Дятел в бешеного Волка не превратился!»

– Браток, всё нормально, – сказал он. – Живые. Что ещё надо?

Браток, не говоря ни слова, поднялся да как по уху треснул Храборееву!

– Что ты наделал, курва?!

Антоха отлетел. Чуть не в костер.

– Дятел, падла! Ты что?

– А ты? Что ты наделал?!

Северьянович поднялся. Вытряхнул снег из уха.

– Я пуп надорвал, вытаскивая лётчиков и тебя, дурака. Вот что я наделал. А ты мне в знак благодарности чуть не пробил перепонную барабанку... – Храбореев заговорился.

– Ты посмотри, что ты палишь!

– Костёр...

Дятел зажмурился и заплакал, обхвативши голову руками.

И только тут до Северьяновича дошло. Присмотрелся:

– Е-моё... Деньги? – Он поднял два инкассаторских мешка с надписями «Государственный банк СССР».

Дятел вытер свой сопливый клюв. Сунул руку за пояс. Там находилось оружие.

– Положи мешки на место! – крикнул сопровождающий. – Теперь это вещественное доказательство.

Храбореев увидел пистолет. Попятился.

– Э, дурило! Убери... Оно ведь стрельнет...

– Обязательно, – согласился Дятел. – Не это, так другое стрельнет.

Северьянович настороженно смотрел в черный глазок ствола.

– Какое другое?

– А тебе не понятно? За эти два мешка тебе припаяют вышку!

– Какую вышку?

– Буровую! – Дятел хмыкнул. – Ты козлика невинного из себя не строй. Все ты прекрасно понимаешь...

– А ты не понимаешь? Я нарочно?

– Не имеет значения.

– Как это – не имеет? Если бы я их прокутил по ресторанам – это одно... Вот лежал бы я сейчас без сознания, деньги были бы целые, и ты был бы в целости и сохранности. Молодой красивый труп. Тебя это устраивает?

– Но деньги-то! – взвизгнул сопровождающий. – Деньги зачем спалил?

Храбореев молчал. Искал убедительный довод.

– А зачем ты песню пел сейчас? «В саду горит костер рябины красной»?

Дятел несколько секунд непонимающе смотрел на него.

– Я ничего не пел.

– Ага! – Северьянович палец поднял. – Значит, не помнишь ни черта. Вот так и я. Прочухался и давай палить костер какими-то бумажками... А если бы я не спалил эти деньги? Что было бы? И я, и ты замерз бы, и пилоты... – Он посмотрел на летчиков; они уже прочухались и пошли рацию налаживать, чтобы выйти на связь. – Все бы мы подошли! – подытожил Северьянович. – Что тебе дороже? Люди? Или вшивые бумажки?

– Эту пламенную речь ты скажешь на суде.

– Скажу, конечно. Только ты убери свою пушку! А то я тебя снова зарою в снег! Зараза! Угрожать он будет... Я его спас, а он по уху... До сих пор звенит...

– Да не в ухе у тебя звенит, – ядовито подсказал сопровождающий – За пазухой. – Дятел пистолетом показал на мешочки с серебряными монетами. – Натырил, однако? Успел?

– Дурак ты. Дятел и дятел. Что с тебя взять? – Северьяныч сунул руку за пазуху и достал оттуда... валдайский колокольчик. Позвенел под ухом у себя и засмеялся, обескураженный. – Ну, Любка! Ну, баба! И когда только успела, окаянная!

Был суд. Вину Храбореева не доказали, но и дело не закрыли. Необходимо было заключение медицинской комиссии: Храбореев после авиакатастрофы, после сотрясения мозга, мог действовать неадекватно. Северьяныча таскали по разным комиссиям в городе; клубками проводов опутывали, какие-то датчики подключали.

– Ну и что там? – тревожился Храбореев.

– Вам это знать не положено, – многозначительно говорил ему человек в халате.

Неизвестно, чем бы всё это закончилось. И хорошо, что был знакомый адвокат; он по-свойски шепнул Храборееву, что делать.

– А искать начнут? – засомневался Северьяныч. – Розыск объявят? А?

– Ну, как знаешь! – отмахнулся адвокат. – Жди у моря погоды.

Выбирать не приходилось. Храбореев быстренько затолкал своё добро в старенький брезентовый рюкзак и улетел. (Дело вскоре замяли.)

А перед тем как улететь, он заглянул в общежитие, Любу Дорогину увидеть хотелось. Но Любушки не было. Или переехала куда-то, или совсем на Валдай укатила – толком никто не смог объяснить.

И вот с той поры Северьянычу время от времени снился удивительный какой-то сон.

Отчётливый сон открывал перед ним горизонты – безграничные, иногда засыпанные звёздами, иногда окрашенные киноварью закатов или рассветов. По дорогам, идущим через горы и степи – по дорогам тяжким, бесконечным – он шагал искать страну Гиперборею. Долго, трудно искал – все ноги избил и всю душу изранил. И голоса уже седая у него. И потерял он уже всякую надежду. И вдруг – на тебе! Нашёл! Там – хрустальные горы мерцают, ледяными «клювами» достают до небес. В долинах – изумрудные деревья, малахитовая мурава. Странные цветы горят во мраке, напоминая сибирские жарки. Только это вовсе не жарки. Северьяныч подходит, наклоняется над сказочным цветком, осторожно касается. И происходит что-то невероятное. Цветок под рукой у него вдруг начинает разгораться и позванивать. А когда он повнимательней присмотрелся – это вовсе даже не цветок. Это – золотистый колокольчик с надписью «Дар Валдая». Но колокольчик не простой, не поддужный, какие раньше были на русских тройках, нет. Колокольчик этот не звенел, а смеялся, да, да. Колокольчик – если его чуть потрогать, погладить – начинал в тишине беззаботно смеяться нежным зазвонистым смехом синеглазого мальчика.

«И что бы это значило?» – просыпаясь, думал Северьяныч. На сердце было и тревожно, и светло.

Весна озорничала в полях, в лесах под Тулой. Тёплый ветер, пахнувший первой зеленью, душу баламутил и весело тревожил. Соловьи «горстями» рассыпали серебро в садах и рощах. Северьянович поехал к своим родителям – двадцать пять километров от города. Вышел на расстани (шофер помчался дальше). Разулся и пошлёпал босиком. Красота! Он шел и думал: «На белом свете много прекраснейших дорог, но самая шикарная, одетая цветастыми шелками – это, конечно, дорога на родину, дорога к той золотой избе, где ты сто лет назад был несказанно счастлив...» Он подолгу задерживался в полях. Слушал землю и небо. Смотрел. Даже не смотрел, а – созерцал. После морозной, метельной жизни «на северах», он совершенно иначе стал воспринимать природу. Радовался каждой букашке. Умиляла каждая былинка и росинка. Север как будто содрал с него старую шкуру – дублённую, и теперь он жизнь воспринимал оголёнными нервами.

Старики – родители Марьи – тоже в деревне под Тулою жили.

– Картошку надо помочь посадить, – сказала жена.

– О чем разговор?! Я своим уже помог. Посажу. Нет вопросов! Ни один прокурор картошку не посадит так, как я...

Марья улыбалась, глядя на мужа. Удивлялась переменам



в его характере. «Какой-то он... как ветер, – думала. – Вольный. Шумный. Как ребенок радуется первому цветку. Наверно, так и надо. А мы привыкли, мало ценим то, что рядом». И в то же время Марья заметила: он какой-то покладистый сделался; что ни попросишь – «мухой» летит, исполняет любое желание. И за этой покладистостью Марья женским сердцем чуяла что-то недоброе. Это – как затишье перед бурей. «Нашел, видно, кого-то! – подсказывало бабье чутье. – Колокольчик какой-то в кармане под сердцем таскает».

В деревенском огороде Храбореев азартно взялся за картошку. Увлёкся так, что черенок у основания хрустнул – лопата «наизнанку» вывернулась. Пришлось на новый черенок насаживать. Новый был шероховатый, в занозах. Северьянович взял стеклянный осколок – до зеркального блеска наяривал. И всё было в радость ему: лопата, картошка, скворцы, вразвалку шагающие по огороду в поисках червей.

После огорода – баня. Святое дело. Он взялся чурку расколоть – дровец для бани. Опять увлёкся и давай долбить, только шум стоял – поленья кувырком летели по двору.

– Бросай! Ну тебя к лешему! – издалека закричал Дорофей Николаевич, теще, не решаясь подойти поближе: как бы полено в лоб не прилетело.

– На зиму надо все равно! – ответил Храбореев.

Теща отмахнулся:

– Завтра!

– А завтра мы забор подладим. Он у тебя кривой, как саб-

ля.

Дорофей Николаевич, качая седой головой, похвалил:

– Ох, и дурной же ты, Антоха, на работу!

– А я не только на работу, я вообще дурной.

– Бросай! Там баня уже, поди, готова.

Храбореев страсть как соскучился по хорошей деревенской бане. Неторопливо, вдумчиво таскал речную воду. Печку разжигал неспешно. Долго вслушивался в то, что она ему рассказывала красным языком... Прикрывая глаза, блаженно нюхал банный веник, наслаждался ароматом березы. Когда баня поспела – до угара парился. В реке плескался. И всё – как будто в первый раз. Как только что родился. «Это Север научил меня любить! – улыбался он. – Истосковалась душенька по простым житейским вещам, на которые люди не обращают внимания».

Поехали обратно. Жена спросила, когда проезжали мимо Тулы:

– Что решил? Насчет завода?

– Пойду, наверно, блоху подковывывать, – сказал. – Надоело на вечной мерзлоте зубами клацать!

Избу на Колдовском они продали. Дом купили – рядом с Тулой. Северьянович по-прежнему был «помешан» на рыбалке и охоте. Про завод поговорил – забыл. Целыми днями пропадал на озерах, на реке. Добычу привозил – охапками. Марья не могла уже смотреть на убитую птицу.

– Куда ты колотишь? – поморщилась. – Холодильник пол-

ный... Мне её жалко. Хватит. Не стреляй.

– Ах, какие мы, блин, сердобольные! – Храбореев умылся после охоты. Переоделся. Книжку в руки взял – недавно в городе купил. – Вот, послушай. «В июне 1823 года, – стал читать Северьянович, – в районе северо-восточного побережья полуострова Мелвилл лейтенантом британского королевского флота Джемсом Кларком Россом (открывателем Северного и Южного магнитных полюсов Земли) были добыты две чайки. Окраска этих птиц поразила не только Росса, но и всех его спутников. Спина и крылья у птиц были светло-серые, голова и шея – белые с розовым оттенком, а грудь, брюхо и подхвостье ярко-розовыми. Вокруг шеи в виде ожерелья шла узкая бархатисто-черная полоса, клюв был черный, вокруг глаз – красный ободок, а ноги – ярко-красные. Птицы казались отблеском утренней зари. Так был открыт новый вид – розовая чайка...»

– Ну, и к чему ты это прочитал? – осведомилась Марья. – Можно убивать? Так, что ли?

Он задумчиво проговорил:

– Розовую чайку увидеть хочется.

Марья грустно покачала головой.

– Увидеть и убить? Как этот лейтенант британского королевского флота...

Он прохладно, отстраненно посмотрел на жену. Захлопнул книжку и сказал, вынимая папиросы:

– Пойду, поем курятины.

Жена удивилась.

– А я не варила курятину.

– Ну, тогда я просто покурю. С вашего, мадам, позволения. – Он попытался верхней губой достать до носа; разнервничался.

Деньги в доме начинали сякнуть – те, что он высылал. И Храбореев затосковал. Задумался. Идти «блоку подковывать» – хоть на завод, хоть куда-то еще – не хотелось. Зарплата везде сиротская. А Север избаловал длинным рублем, да и не только рублём, вот ведь язвы его...

Север душу отравил – свободой, волей и чем-то еще, что-то конца не разгадано. Храбореев смотрел в небеса – когда выезжал на охоту. Видел стаи перелетных птиц, неумоимо гребущих в сторону Севера. И вспоминался ему разговор с Никанором Фотьяновичем, профессором.

Неужели правда этих вольных птиц из года в год, из века в век гонит на Север какая-то могучая и странная генетическая память – память о прекрасном теплом Севере? А если это правда? Боже мой! Это как же хорошо жилось тогда на Севере – пятнадцать или тридцать тысяч лет до нашей эры? Какое райское житьё должно было там быть, если и теперь еще птичья перелетная душа – да и не только птичья! – помнит о сказочном Севере, грустит о нем, тоскует и постоянно стремится к далекой своей прародине, навсегда затерявшейся в чистых снегах.

# В гостях у Полярной звезды

## 1

Помнится, впервые изучая карту, он поймал себя на мысли, что гигантский полуостров Таймыр похож на крепкий подбородок упрямого и дерзкого человека. Случайно ли? Ведь именно такие упрямые, дерзкие и непокорные русские люди – грудью проломили дорогу сюда. В начале семнадцатого века пришёл народ из Мангазеи. Следом – в восемнадцатом веке – потянулись братья Лаптевы, Челюскин, Прончищев, Минин и многие другие непоседы, в жилах у которых kloкотала неуёмная кровь. Что их манило из тепла и уюта? Что влекло? Неужели всё тот же древний голос крови, который заставляет стаи перелетных птиц каждую весну срываться с тёплых берегов и лететь к своей далёкой загадочной прародине, бесследно сгинувшей в полярных льдах? Только была ли она, та прародина, Гиперборея? На этот вопрос он будет пытаться ответить всю жизнь; будет проклинать суровый Север, манящий к себе. Потом – боготворить. Будет постоянно «сидеть на чемоданах», собираясь уезжать. И никуда не уедет. Не сможет. Здесь, на Таймыре, он будет ловить себя на странном ощущении, будто опоили зельем колдовским...

Что это, Север? Что ты делаешь с нами? Скажи, Таймыр,

поведай, Страна Семи Трав – как звали тебя раньше. Признайся, какое такое волшебное зелье умеешь ты сварганить на своем колдовском семитравье? Секрета не знает никто, но многие знают: вкусивши северного зелья, ты будешь опять и опять возвращаться в ледяные потаённые края. Будешь искать и находить здесь если не полярную прародину свою Гиперборею, то, по крайней мере, – чистоту, первозданность.

Человек на Севере становится таким, каков он есть – только намного лучше. Север делает нас чище, выше самих себя. Душа здесь крепнет, стряхивая с крыльев пыль житейской суеты, воспаряет в горние пределы, где широко и вольно зацветает вечно молодой морозный воздух, напоминающий весёлые цветущие поляны, полные раскалённых пчёл, слетающих на землю – ах, как сладко жалят, окаянные. «Русь! Ты вся – поцелуй на морозе!» – не случайно сказано поэтом...

С годами он многое поймёт, переоценит – в лучшую сторону. А пока – он только что приземлился на убогой вечной мерзлоте.

## 2

Друг, обещавший встретить в аэропорту, запропал куда-то. Храбореев походил кругами около «Справочного бюро», где было условлено встретиться. Потоптался в растерянности, поглядывая на большие круглые часы, висящие на стене. Посмотрел на карту Советского Союза, исчерчен-

ную красными полосками авиационных маршрутов: Диксон, Хатанга, Воркута, Ямал, Якутск... «Наверное, что-то случилось!» – подумал Антон Северьяныч, поскольку друг был человеком слова.

С телефонами тогда было напряжённо – два или три казённых «двухкопеечных» аппарата висели на стене, которую плечами подпирала толпа народу. Храбореев, дождавшись очереди, позвонил по двум номерам, но бесполезно – никто не ответил.

Настроение стало портиться, точно также, как погода портилась над крышей аэропорта – солнце уходило в тучи. Он постоял на крыльце, похлопал по карманам – спичек нет.

Мимо него прошёл лётчик – это был Мастаков Абросим Алексеевич, с которым Храбореев скоро будет жить по соседству.

– Огоньку не найдётся? – спросил Храбореев.

– Ну, как же, как же, – шутя, ответил лётчик. – На Севере никак нельзя без огоньку!

«Хороший мужик!» – мельком отметил Антон Северьяныч, глядя в спину лётчика; всегда он немного завидовал таким небожителям.

Покулив на каменном крыльце аэропорта, Храбореев ещё немного подождал, высматривая друга. И чем дольше ждал он, тем сильнее мрачнел, всё внимательнее осматриваясь. Он поминутно хмыкал в недоумении, пожимал плечами и плевался – в сторону урны. «Странное местечко, – думал он. –

Не сказать, что пустыня, а всё-таки...» Сколько не смотрел он по сторонам, но ничего здесь не видно такого, что могло бы его порадовать. Скорее даже наоборот – многое отпугивало, отталкивало.

Тогда ещё ходили электрички – пятьдесят километров от аэропорта до города. Храбореев сел в обшарпанный вагон и ужаснулся, как только отъехал от аэропорта. Ужаснулся тому, что увидел за окнами – кругом были грустные, почти до горизонта захламлённые пейзажи, какие можно встретить лишь на советском Севере: куски какого-то металла, страшно покорёженного; металлические бочки из-под горюче-смазочных материалов и многое другое – в таком же духе.

Стояла середина августа, и нельзя было не думать о том, что дома под Тулой сейчас солнце вовсю сияет, точно огромный тульский самовар; зелень шумит в лесах и в полях; птицы кругом заливаются. А тут? Чёрт знает что!

Он трясся в электричке, курил возле окошка в грязном тамбуре и тоскливо созерцал «марсианский пейзаж». Камни. Грязь. Туманы. Ветер.

Вдруг порывистый дождь налетел – как будто прутами из проволоки хлобыстал по окнам, трещал по крыше. Потопки воды были настолько плотными – видимость пропала на несколько минут, только одни расплывчатые контуры за окном проплывали. Внезапно начавшийся ливень – так же внезапно закончился. Голубизна – какая-то не очень естественная, словно бы нарисованная свежей акварельной краской –



вдруг навалилась со всех сторон. Промокшая, слегка дымящаяся тундра за окнами точно присела – точно голову в плечи втянула, пугливо уступая место голубой громаде небосвода, восторжествовавшего от края и до края горизонта. И вдруг снежинки вихрем закрутились – и настолько это было непривычно, дико, что не сразу поверилось. Скорей всего, что это не снежинки, а пух одуванчиков... И пока он присматривался к этим снежинкам, к этим одуванчикам – всё прошло, всё пролетело. И вот уже солнце опять – как ни в чём не бывало – солнце улыбнулось в облаках и тучах.

Рядом с ним оказался мужик, вышедший покурить.

– Как вы тут живёте, мать-перемать?! – удивлённо спросил Храбореев, глазами показывая за окно.

– А вот так и живем. С матерками в зубах.

Окрестная тундра представляла жалкую, плачевную картину. Год за годом грандиозный металлургический комбинат – советский молох, построенный на костях заключённых, – убивал всё живое кругом; выбросы летели на десятки и на сотни километров. И Храбореев подумал, что длинные рубли на Севере – это короткая жизнь.

И чем дальше он ехал, тем печальнее были картины. И совсем уж поразил его заполярный город, стоящий на вечной мерзлоте, окруженный грудями хлама и мусора, а сверху прикрытый чёрно-синей шляпой дыма, такого вонючего, что без противогаза тут не продохнуть.

«И вот это – наша древняя прародина? – подумал он, ози-

раясь. – Это – мечта?»

Ему в те минуты – чего греха скрывать – очень сильно захотелось, задрав штаны, бежать назад, в аэропорт, и со слезами в голосе закричать в стеклянное дупло, где сидит касирша: «Мамочка! Роди меня обратно! Дай билет, я в Тулу полечу. Я лучше на заводе буду блоху подковывать, получая гнутую копейку, нежели тут погибаться при хорошей зарплате!» Но характер у Северьяныча был такой, что никогда не позволял отступать от намеченной цели.

### 3

Хлебосольное застолье было шумное – с хорошим, звонким северным размахом. С гармошкой. За столом восседали друзья и знакомые – на буровых когда-то вместе вкалывали.

– Заяц трепаться не любит! – говорил раскрасневшийся друг. – Если я сказал, что встречу, значит, так оно и будет! Но кто бы мог подумать, что вахтовка сломается в самый неподходящий момент? Мы там, на переезде, заторчали так, что нас электричка чуть не раздавила! Так что извини, братан!

– Да ладно, всё путём...

– Нет! – настаивал подвыпивший друг. – Я вижу по глазам, слышу по голосу! А? Чего тебе тут не понравилось?

– Окрестные пейзажи.

– Не понял. А что именно?

Хмелея, Храбореев настраивался на добродушный лад.

– Да просто я дома очки позабыл...

– Какие очки?

– А ты читал «Волшебник изумрудного города»?

– А-а... Это сказка, что ли? Ну, понятно! – Друзья расхотались. – Очки тебе выдадут!

– Правда? А где?

– В цеху. Там, где всё на меху. Ты там уже в списках. И очки, и респиратор выдадут, – заговорили наперебой. – И даже премию. Если, конечно, сачковать не будешь.

– Мужики! – Храбореев аж поднялся над столом. – погоди! Да вы это серьёзно?

– Ну, так ещё бы! – заверил друг. – Заяц трепаться не любит! Давай лучше споем! «Ты уехала в знойные степи, я ушёл на разведку в тайгу... Надо мною лишь солнце полярное светит. Над тобою лишь кедры в снегу!»

– А, по-моему, солнце не полярное, – сказал Храбореев. – Там поётся про это... палящее...

– А у нас – полярное! Давай, маэстро! Дуй!

Руки у «маэстро» были такие огромные – гармошку сгоряча порвёт и не заметит. Крупные пальцы работяги-гармониста – тупые короткие пальцы с чёрно-синими ногтями – с трудом попадали на кнопки.

Хороший вечер был. Душевный.

А на другое утро – была суббота – мужики собрались в тундру. Причём собрались так «сурово» – даже не похме-

лились, поскольку один был за рулём, а все другие «около руля», так они сказали Северьянычу, немало удививши его этой мужской солидарностью.

Вахтовка – крытая машина, куда легко залезла вся честная компания, – рано утром отвезла их на причал, где уже под парами стоял старый катер, задышливо хрипящий дизельным хайлом. По холодной, извилистой и мелкой реке они ушли куда-то вглубь огненно-охристой тундры. На каменистом пригорке разбили свой табор. Там была и уха, и шашлык, и всё, что только хочешь; ящики с провизией и ящики с патронами – всё было в кучу на берег свалено. «Как бы эти черти не перепились, да потом не перестрелялись!» – промелькнула тревожная мысль у Северьяныча. А потом – в конце разгульного денька – он с удивлением констатировал тот факт, что никогда ещё не встречал подобную компанию. Никто не позволил себе ни лишней рюмки, ни лишнего, пуstopорожного выстрела.

Мужики попались – просто первоклассные.

Через несколько дней они помогли ему без проволочек устроиться на завод. Мало того – он вскоре получил квартиру. Марья, жена, должна была к Новому году приехать. Время ещё было, и Храбореев сделал небольшой ремонт. Долго рыскал по магазинам – искал хорошую сантехнику. Потом – друзья опять же помогли – достал шикарные фотообои. На «материке», заметил он, люди спокойно, даже равнодушно относятся к таким фотообоям, а здесь – иногда зайдёшь с

морозу, глянешь – сердце жаром возьмётся. На стенах – иногда во весь размах – синеют реки, озёра; водопады серебром полощутся; зелёные стога стоят в лугах; глухарь самозабвенно токует на кедровой ветке... «Красота! – думал Северьяныч, рассматривая свои фотообои. – На такие картины можно смотреть и смотреть – не надоест. Японцы – это я слышал от знающих людей – японцы могут часами глазеть на свою Фудзияму. А я что – рыжий?..»

Перед кроватью – так, чтобы можно было издалека рассматривать – Северьяныч приклеил картину с какой-то высокой, остроконечной горой, на которую взбиралась крохотная фигурка путника, похожего на муравья.

«Кто это там? – глядя на картину, думал он в тишине полупустой квартиры. – Наверно, это я иду. Ищу Гиперборею!»

К Новому году ремонт был окончен. Храбореев холодильник зарядил продуктами – чтобы честь по чести встретить Марью. Ждал с нетерпением. Только, увы, не дождался. «Север – он везде, брат, Север, даже в Африке», как любил повторять один газовик, оказавшись «под газом».

Новый год Храбореевы встречали порознь. В декабре пуржило много дней без передыху, и Марья – собравшаяся лететь – застряла где-то в Туле «с тульским самоварчиком в обнимку».

– Я же говорит тебе, вылетай заранее! – сердился Храбореев по телефону.

– Ну, кто же знал? – слабо возражала Марья. – Тут у нас

тепло...

– У вас тепло, ага! Кто знал? Я знал, а потому и звал заранее!

– Да мне тут надо было кое-какие дела доделать. Ты не сердись. Я скоро...

– Скоро сказка сказывается, – ворчал Храбореев.

Только в первых числах января самолёт поднялся на крыло.

Над Крайним Севером звенела ясная, алмазная погода. Морозы придавили ртуть в термометрах – до минус пятидесяти пяти. Небеса над тундрой полыхали радужным сиянием, и Мария Храбореева, расплющивая нос, жадно смотрела в иллюминатор. Восторгалась, как девчонка. Но восторженного пылу хватило ненадолго. В аэропорту взяли такси и, когда подъехали поближе к городу, – не только сияние пропало в дыму и в копоти – яркие звезды зажмурились. И посинел мертвецки, почернел огрызок ущербной луны, ещё недавно криворото скалившийся над вершиной Медвежьей горы, горбатой взгромоздившейся над городом.

## 4

Завод находился почти на окраине города. (Раньше он вообще был за городом, но дома со временем подошли к заводу). Когда-то считавшийся «режимным» предприятием, завод был огорожен рядами колючей проволоки, но и потом,

когда гриф «режимный» убрали – ряды колючей проволоки никто не отменил. Разве что овчарки перестали тут ходить рядом с ВОХРой – военизированной охраной. А так – всё по-прежнему. Строго. Будто в зоне. И точно так же как в зоне тут порой устраивали шмон – делали обыск. Правда, не всех подряд шмонали, а только по выборке – если твоя рожа не понравилась, ну то бишь, показалась подозрительной.

Первое время этот шмон просто бесил Северьяныча. Ему хотелось развернуться – в ухо треснуть сытому охраннику. И в то же время Храбореев понимал, что этот сытый здесь не причём – работёнка у него такая. Холуйская, надо сказать, работёнка. Зато в тепле.

Поначалу Северьяныч был на заводе токарем, чуть позднее перебрался в цех электролиза меди. Здоровенный, гулкий «аэродром», как прозвал его Северьяныч. Цех был старый, ещё довоенный – первая катодная медь была тут получена в 1934 году; об этом говорила медная табличка, прикрученная на железной балке – перед самым входом. Храбореев не считал себя тупым, но как-то долго не мог освоить это простое дело.

– А что тут происходит? – расспрашивал он своих новых друзей по работе.

– Элементарно, – объясняли ему. – Вот, смотри. Эта хрень называется – медный анод. В медеплавильном цехе делают.

– Ну, это я знаю. А дальше?

– А дальше этот медный анод погружают в ванну с раство-

ром электролиза. Медь осаждается на катоде. А часть примесей переходит в электролит. А селен, теллур, драгоценные и редкие металлы переходят в шлак...

– В шлак?

– Ну, что-то наподобие того.

– А как же это так? Драгоценные и редкие металлы переходят в отбросы?

– О, нет, братишка. Шлак – это не отбросы. Шлак – по крайней мере, здесь – это такая штука, за которую ты можешь срок получить, если вздумаешь вытащить за проходную.

– Ага! – Северьяныч усмехнулся. – Вот с этого и надо начинать ликбез. Сразу становится ясно, какая тут серьёзная работа.

Производство было вредное, зато деньжата платили добрые, а пахать Северьяныч никогда не ленился. Карьера очень скоро у него полезла в гору. Стал электролизником третьего разряда, затем четвертого. Так, смотришь, высоко забрался бы, но вот беда. Чем выше поднимаешься, тем сильнее нужно спину гнуть перед начальством. Подхалимаж – искусство не для многих, для этого нужно родиться с каким-то особым составом крови. Но дело даже не в этом.

Как-то после смены Храбореев зашёл в туалет, расстегнул ширинку и напугался.

– Ни черта себе... – пробормотал, поморщившись. – Моча, блин, с кровью пополам!



Жалобу его услышал человек, стоящий рядом.

– А что ж ты хочешь? ПДК – грёбанные эти предельно допустимые концентраты вредных веществ – завышаются то в пять, то в десять раз. Ты, гляжу, новенький?

– Со старыми заплатками.

Так он познакомился с молодым жизнерадостным плавильщиком, на теле которого за смену в цехе сгорала хлопчатобумажная рубаша. Звали плавильщика Анатолий Силычев, для краткости, – Силыч.

Разговорились в курилке.

– Даром, что ли, наш завод входит в так называемую «группу повышенного риска»? – просвещал Анатолий Силычев. – Я тут журналчик на днях полистал. Если верить данным ЮНЕСКО, профессиональная смертность среди металлургов и горняков находится едва ли не на первом месте.

– Спасибо, утешил!

– Хлебай на здоровье! Ну, побегу. – Силычев пожал ему руку, будто горячим металлом ожёг.

На завод Храбореев пошёл из-за квартиры – нужно было отрабатывать. Поэтому пахал, скрипя зубами, в которых была зажата «соска» – наконечник противогаза. Работал и попутно присматривал местечко «на свежем воздухе».

– Силыч, ты что-нибудь посоветуешь? – обратился к Анатолию.

– Подумать надо.

Рассудительные глаза плавильщика – стального цвета –

искрили звёздочками, как миниатюрные ковши. А на левой щеке металлурга виднелись две темно-малиновых родинки, напоминающие капельки остывшего металла; плавильщик временами шаркал по щеке – привычка такая, – будто смахнуть пытался капельки.

Через какое-то время Анатолий Силычев спросил:

– Ты как насчёт рыбалки? У меня товарищ работает в артели рыбаков. Если хочешь, я поговорю. Но это, скорее всего, только весной.

– Ладно, – согласился Храбореев, – как-нибудь перезимуем, а там – видно будет.

Первая зима на Крайнем Севере далась крайне тяжело.

В конце ноября солнце кануло за горизонтом, выпуская в морозную дымку своего «двойника» – тусклый пустотелый оранжевый шар, долго стоявший в небе над горизонтом. Потом и он пропал, шафрановой пылью рассыпался по перевалам. И в душе у Храбореева тоже «солнце пропало». На материке привыкший подниматься с первым проблеском зари, он каждый день, точно петух, которому пора прокукарекать, смотрел в ту сторону, где должен быть восход – и ничего не видел, кроме темноты, где хрупкой солью мерцали звезды, выедающие глаза. Хандра начинала наваливаться, хандра, особенно сильно гнетущая душу в полярную ночь.

– Синдром полярных сумерек, вот как это называется, – объяснил ему знакомый врач. – Это время особенно тяжело переживается теми, кто недавно переехал сюда с материка.

Но даже и те, кто уже адаптировался, и даже эти... аборигены, даже они страдают хандрой, апатией и сонливостью. А виною всему – мелатонин!

Храбореев даже оглянулся.

– А это кто? – спросил он шепотом. – Что за зверь?

– Вещество такое в организме, – стал растолковывать доктор. – Оно отвечает за сон и вырабатывается только ночью. А когда наши дни становятся тёмными – мелатонин вырабатывается даже днём.

– И что же делать? А? – поинтересовался Храбореев. – Башкой об стену биться?

– Не обязательно. – Знакомый доктор улыбнулся. – Нужно кушать солнечные фрукты. Мандарины, апельсины, яблоки. Нужно слушать хорошую музыку. Яркую одежду надо носить. Но самое главное: нужно сделать так, чтобы вокруг вас было много света. Только нужно использовать не жёлтые лампы, а лампы дневного света. Понимаете? Выработка мелатонина будет снижаться, а работоспособность при этом должна увеличиться. Теоретически.

– А практически?

– А практически народ у нас, в основном, применяет только старый дедовский рецепт: водку по-чёрному глушит чёрными полярными ночами.

– Вот с этого и надо было начинать! – Северьяныч расхохотался. – А то – апельсины... манда... мандарины...

Странное времечко было – полярная ночь. На часах, на-

пример, двенадцать ноль-ноль, равно полдень, а за окном – как будто ровно полночь. И ничто не помогало Храборееву – ни фрукты, ни яркая одежда, в которую он первое времярядился так, что папуасы позавидуют. Первые дни, когда онсдуру послушал советы врача и стал покупать себе какие-то немыслимо яркие наряды – первые дни жена смотрела на него как на придурка, а потом даже заревновала; может, он влюбился и поэтому...

– Врач сказал? – удивилась Марья Дорофеевна. – Так это что – и мне так нужно вырядиться? Ты будешь – клоун, я – клоуниха. Или клоунесса?

– Клуня, так будет правильно, – сказал он, уходя из дому. Бродя по тёмным улицам, просвистанным метелью, Храбореев боролся с желанием завернуть в какую-нибудь забегаловку и там – в один присест – утопить хандру в бутылке водки.

Изредка заходил он в гости к Анатолию Силычеву. Круглощёкий, жизнерадостный плавильщик сверкал сталистыми глазами – искры чуть не сыпались.

– Хандра? Что за тетка? Не знаю такой. Ты, главное дело, побольше в ковшик наливай, почаще в плавильную печь загружай, и всё будет в порядке. Хай-ай-ай... – Расхохотавшись, Силыч показал на поллитровку. Жёсткой ладонью шаркнул по щетинистой щеке с «железными» каплями родинок.

– Да я уже думал об этом, – признался Северьяныч.

– И что? Сомневаешься? Зря. Это средство проверено.

Храбореев попробовал «народное» средство борьбы с хандрой. И неожиданно загудел – сорвался, как в пропасть, в продолжительный запой, чего с ним ещё никогда не случилось. И после этого он в полной мере осознал, что такое – настоящая хандра. Тело разбито, душа растоптана. Хоть башкой об стену бейся, хоть вены режь. «Всё! – зарекся он. – Завязано! Морским узлом!»

На заводе Северьяныч сварил гантели, штангу. Лыжи купил, ботинки. И стал завсегдатаем на спортивной базе, находящейся за городом. В субботу и в воскресенье приедет на базу, прострочит кружок-другой – километров десять-пятнадцать наматывает «на спидометр», повеселеет, взопреет и покраснеет как синьор-помидор. И напрочь забывает про эту, как её звать-величать? Хандра, или кто там покоя душе не давал?

И всё равно этот замкнутый круг – дом, завод, и снова дом, завод – выматывал заунывным однообразием. Приходилось жить, скрипя зубами. Каждый день давался на преодолении, на характере.

Здоровый образ жизни подтолкнул в библиотеку. Северьяныч и раньше любил читать, но тут... Запойный всё-таки характер был у него. Читал – запоем. За уши, бывало, не оторвешь от книжки. На смену порою чуть не опаздывал. За зиму перелопатил львиную долю русской классики. «Буржуев» тоже много одолел. Среди книжных полок – часами хо-

дил, листал, выбирал, даже выписывал что-то. На глаза попалась новая книга профессора Усольцева – дяди Никанора. На картинке было изображено родовое древо, растущее из далёкого прошлого. И оказалось: предки Храбореева принимали участие в первых ледовых походах на Север. «Вот тебе и генетическая память! – удивился он. – Душа моя, как птица, неспроста сюда летит».

Книги Храбореев домой таскал – пудами. Читал о тайнах Севера, о древней цивилизации, именуемой Гипербореей. О том, что прародина всего человечества может быть именно здесь – на полярных широтах. У него захватывало дух. «Как много прекрасного и любопытного рядом, – думал Северьяныч. – А мужики уткнулись в водку, точно свиньи в корыто, эх, люди, люди, жалко вас».

О прочитанном хотелось поговорить, и Храбореев «наседал» на жену. И у них возникла странная проблема, будто кочка на ровном месте. Разговор не клеился с женою. Марья Дорофеевна, преподававшая в начальных классах, и сама словно осталась там же – на уровне третьего класса.

## 5

Школа выматывает учителей – как шахта, может быть, шахтера не выматывает. Марья Дорофеевна говорила мужу: «Это только кажется, что языком легко работать в школе, тетрадки чиркать красными чернилами. А на самом деле, ес-

ли труд учителя и труд шахтера положить на разные чаши весов – ещё неизвестно, какая из них перетянет».

Домой жена приходила усталая.

И тогда пришла – ничуть не веселее. Плиту включила, мужа окликнула:

– Антон! Ты ужинал?

– Уже поел! – Откликнувшись из дальней комнаты, Северьяныч через пару минут заглянул на кухне. – Что у тебя? Какие-то проблемы?

Она удивилась.

– Откуда ты узнал?

– По голосу. Ну, что там? Давай, выкладывай.

Марья Дорофеевна вздохнула, раскрывая сумку. Показала школьную тетрадь.

– Видишь, каким художеством занимаются мои ученики?

– А что там?

– Свастика.

– Ну? – спокойно сказал муж. – И чего ты глаза округлила?

– Как это – «чего»? День Победы на носу, а тут... фашистские штучки! Неужели не понятно? – Марья Дорофеевна разволновалась. Обхватив себя за плечи, засновала – то в коридор, то в зал, то опять на кухню.

– Присядь! – попросил он. – Послушай. Только очень внимательно...

Остановившись, жена посмотрела с недоумением. Как-то необычно он заговорил, официально. Это задело её за живое.

– Может, я поем сначала? – спросила с легким вызовом.

– Пожалуйста. – Он говорил спокойно, твердо. – Я подожду.

– Хорошо, потом поем. – Выключив плиту, она уселась напротив мужа. – Слушаю.

Северьяныч взял папироску, но не закурил – жена не любила. Помолчав, потыкал папироской в сторону раскрытой ученической тетради.

– Когда я работал на Кольском, я побывал в таких укромных уголках и повстречался с такими интересными людьми... – Муж покрутил головой. – А потом я и сам кое-что прочитал... И у меня глаза открылись на эту свастику... Никакая она не фашистская.

– А чья же?

– Наша. Свастика – в представлениях древних народов – символ полярного солнца и Севера вообще.

Жена чуть со стула не хряпнулась – сидела на краешке.

– Вот как?! Ничего себе...

Он взял тетрадку и пощёлкал ореховым ногтем.

– Свастика эта – один из древнейших символов северного орнамента, который олицетворяет кажущееся вращение звёзд в зените полярного неба. У саамов, например, свастика жива и сегодня. А у других – отбили охоту рисовать, вышивать и выпиливать из дерева такие вот свастики...

– У кого – у других? Кто отбил? – хлопала глазами Марья Дорофеевна, слегка обескураженная.



Забывшись, он закурил. Жадно подёргал раза три-четыре и выкинул окурок в форточку. И снова заговорил официальным, казённым голосом, который всё больше нервировал.

– Германский фашизм, как вы знаете, Марья Моревна, присвоил себе эту общемировую символику – свастику. Поэтому она попала под запрет... – Муж потыкал пальцем, показывая куда-то за окно. – Я встречал стариков, которые мне рассказывали страшные истории! Во время Великой Отечественной войны русская одежда со свастиковым узором старательно изымалась...

Жена, похоже, не очень верила.

– Кто же это старался?

– Товарищи из НКВД.

– Ого! Даже так?

– А ты думала? Дело было серьёзно поставлено. На Север были брошены специальные отряды. Ходили, шарились по русским селам и деревням, силком снимали с баб и с девок юбки со свастиками, передники, рубахи и всякие понёвы. Снимали и жгли!.. А кое-где попутно – сверх плана, так сказать! – тащили девок и баб на сеновал... И сурово наказывали! Как пособников мирового фашизма!.. – Он разволновался; верхнею губой попытался дотянуться до носа. – Ты можешь спросить, почему лопари сегодня спокойно рисуют свастику? Так это очень просто объясняется. До лопарей – до саамов – НКВД не успело добраться. Война закончилась. Вот так-то! Фашизм, как известно, всего лишь четверть века

продержался на земле. А свастика эта – тысячелетний символ. А мы? Мы всё перевернули – с ног на голову.

Храбореев положил перед нею тетрадку со свастикой и осторожно закрыл.

Марья Дорофеевна оглушенно молчала. У неё гудело в голове. У неё ум за разум заходил. Она просто отказывалась верить. И в то же время она прекрасно понимала: «Северьяныч не врёт. Какой резон ему? Не врёт, но, может быть... Чего-нибудь напутал? Он же там, на вышках да на газопроводе газова́л с газовиками, сам рассказывал...»

– Не веришь? – спросил он, угадывая настроение жены. – Книжку могу принести. И не одну.

– Принеси. Мне будет интересно.

– Договорились.

Только читать Марье Дорофеевне некогда было. Много школьной суеты, обязательной писанины, а также и необязательной, но желательной общественной нагрузки. И потому остались непрочитанными «Русские лопари», изданные Н. Н. Харузиным в 1890 году, труды А. Б. Кутафина «Материальная культура русской Мещёры», и ещё кое-какие любопытные книги, раздвигавшие горизонты общепринятых понятий и взглядов на жизнь вообще и на жизнь Русского Севера в частности.

Душа его искала собеседника. И однажды он познакомился с полярным летчиком, с которым случайно встретился в аэропорту, когда только-только прилетел на Север.

Абросим Алексеевич Мастаков был соседом. Человек серьёзный, занятой, он время от времени приглашал к себе Антона Северьяныча, который никогда не приходил с пустыми руками, постоянно приносил гостинцы: то жирную нельму, то банку рыбьей печени – максы, то что-нибудь ещё. (Храбореев на выходные в тундру убегал – душу отводил рыбалкой и охотой).

У летчика было два сына.

Влюбленными и грустными глазами Храбореев целовал детей, охотно возился с ними, становясь хоть «лошадью», хоть «танком». Из дорогого металла на заводе Северьяныч смастерил сказочную птицу-бурю с железным клювом, с медными когтями. Размахивая руками, он показывал ребятишкам, как птица-буря поднимает ветер... А когда он уходил домой, на душе было так грустно и так светло, точно там лежала огромная алмазная слеза. Лежала и подрагивала. И он боялся обронить слезу – возвращался медленно, задумчиво.

В субботу как-то он засиделся у Мастакова.

Марья Дорофеевна, встретив мужа, взялась «пилить»:

– Ну, как не стыдно? У них двое детей, а ты сидишь там, бу-бу-бу... Аж тут за стенкой слышно!

Он сердито засопел:

– Это не я «бу-бу-бу». Это лётчик.

– Да хотя бы и лётчик. Ты-то совесть имей!

Храбореев желчно ухмыльнулся:

– Баба у меня – Брюзжит Бордо. Морда бордовая, ходит, брюзжит.

– Очень остроумно.

– Ну, а что ты взялась совестить? Что уж я такого-то бессовестного сделал?

– Но у них же дети маленькие...

– А у нас большие! – Он чуть не взорвался. – Что ты заладила: дети, дети...

– Молчу. Иди, ложись.

– Я сам как-нибудь разберусь, ложиться мне или стоять.

– О, Господи! Какие мы грозные!

– Помолчи! – посоветовал он, опуская лобастую голову.

– Ты чего это? Как бычок.

– А ты чего? Как телочка... – Он хотел сказать «не стельная». Но промолчал, только зубами скрипнул. В последнее время он озлобился. Даже сам себя побаивался: как бы ненароком бабу не ударить... Иногда вспоминалась ему Люба с Валдая. И думал он, что надо бы ему найти ту Любушку. (Валдайский колокольчик он бережно хранил).

Марья Дорощеевна, исподволь наблюдая за ним, ощуща-

ла раскалённую пьяную злобу. И однажды спросила, глядя прямо в глаза:

– Может, ты нашёл себе кого?

Душа у него содрогнулась. Папироска выпала из пальцев.

– Кого? – пробормотал, наклоняясь. – Что ты буровишь?

Жена помолчала. Спросила печально:

– Может, нам развестись?

Он долго смотрел на неё.

– Мать, ты совсем... охудела?

Вздыхнув, она молча погладила седые вихры на висках Северьяныча.

К этому вопросу никогда уже не возвращались.

## 7

Мастаков зимою один остался – так получилось; жена с детишками уехали на материк «погреться». И лётчик пригласил к себе соседа «на чаёк». Бутылка была действительно чайного цвета – то ли коньяк, то ли чача, подкрашенная кофейными зёрнами.

– Я вообще-то не пью, – сообщил Северьяныч. – Разве что губы помочить. За компанию.

«Помочили губы». Разговорились.

В глазах у лётчика синело небо, и Храбореев стал откровенно рассказывать о том, что всегда он завидовал лётчикам – ещё когда служил в десанте. Считал их небожителями,

счастливицами, ходившими по небесам – среди звёзд, облаков и сияний.

– Небожители? – Мастаков, слегка польщённый, улыбнулся. – Ну, это перебор. Лётчики – те же люди. С грехами. Недостатками. Мы, например, сильно верим в приметы.

– Да? – удивился Храбореев. – Это в какие же?

– Всякие. – Абросим Алексеевич показал ему на фотографии в рамке под стеклом. – Видишь, какой тут иконостас? Друзья, товарищи, учителя-командиры. И при всём при этом – ни одной моей фотографии перед полётом. А почему? Такая примета. Нельзя фотографироваться перед полётом. Теперь вот даже похвастаться нечем. Или вот тебе ещё одна примета: уходя на полёты, нельзя отдавать кому-либо ключи от квартиры. У меня в этой связи получился даже анекдот. Чуть в милицию не загремел.

– Это как же?

– Просто. Взял ключи с собой в полёт и потерял. Вывалились где-то в кабине. Через два дня нашли... Но это же – через два дня. А поначалу я пришёл к своей двери. Хвать-похвать, а двери нечем открывать. Рассердился на себя и на приметы эти... И начал дверь высаживать плечом... А соседи-то... Ха-ха... Они меня тогда ещё не знали... Короче, минут через пять подскочила милиция и берут меня под белы ручки... Ха-ха... А ты говоришь, небожители...

Хорошо было в доме у лётчика. Тёпло, уютно, чистенько. Пурга протяжно, тонко завывала за окнами, но завывание

это не пугало, а как раз наоборот – прибавляло радости. Торопиться никуда не надо: у Мастакова два дня свободных и Северьянычу только через сутки на смену.

– Слушай, Алексеич, – как-то тихо, вкрадчиво заговорил Храбореев, – а помнишь, ты ребятишкам своим что-то рассказывал про какого-то Царя-Севера? Там, за облаками буд-то бы... Это что за история?

Лётчик даже не сразу припомнил.

– А-а! – Он отмахнулся. – Ну, это так, забава для детишек. На сон грядущий, так сказать.

– Расскажи, Алексеич! Будь другом!

– Зачем тебе?

– Да я начало-то услышал, а потом ты с пацанами в спальенку ушёл... Мне просто интересно... – Храборееву не хотелось говорить про сына, погибшего на Колдовском, про медвежонка по имени Северок.

Они в тот вечер долго сидели. Абросим Алексеевич согрелся «чайком», раздухарился и охотно стал повествовать о своей работе. О том, что в последнее время летает над Северным Ледовитым океаном – в район Канады, где находились секретные ледовые базы для советских подводных лодок.

– Это был ночной полёт, гроза шарахнула! – вспоминал покрасневшийся летчик. – Индикатор горизонта поломался. Так, во всяком случае, мне показалось. И ещё две стрелки обесточились. Поломка была – ерунда, потом-то я узнал.

А в тот момент меня всего жаром окатило. Как в русской бане. Запаниковал. Отклонился от курса – пропал со всех радаров ПВО Советского Союза. И ушёл – черт знает, куда! Сам до сих пор не могу разобраться, куда занесло. Помню, летел сквозь непогоду – сквозь грозу. И вдруг – впереди по курсу – замаячила шаровая молния. Я лечу со скоростью 520 километров в час, и она – примерно так же. Представляешь? Кошмар. Летит, летит и светится – перед фюзеляжем. Вроде как дорогу мне показывает. Я смотрю на приборы – мне нужно вправо рулить. А шаровая молния влево заворачивает. И только я хотел пошевелить штурвал, машину вправо завалить... Смотрю, а с правой стороны вершина горы промелькнула. То есть, я бы врезался в ту гору! Если бы не молния, ведущая меня «по коридору». И тогда я доверился ей, той шаровой подружке... И вдруг она в кабину залетела. Светлый шарик такой. Небольшой. Не больше апельсина. Смотрю: шарик меняет окраску. То зелёным цветом заиграет, то голубым, то оранжевым. А потом он прокатился по моей груди. Жарко стало. На мгновение, помню, жарко. И – всё. Я вырубился. И приборы в самолете вырубились. Сколько времени я провёл без сознания? Бог его знает. Открываю глаза. Ничего не пойму. Где я? Что это? Самолет мой стоит на ровной широкой площадке. Кругом горят и переливаются разноцветные всполохи. Те самые всполохи, которые мы наблюдаем с Земли. Только там, где я был, всполохи висели на каких-то... Ну, вроде как на бельевых верёвках.



Вроде как сушились. Представляешь? Всполохи те как будто смастерили только что – соткали на станках. Я потом уже, когда ходил, знакомился, увидел огромное белое полотно – кусок домотканой метели. Серьёзно тебе говорю. Длинный такой кусок, шершавый. Мнется в руках, но почему-то не та-ет. Волшебный. Материю ту прошивают морозными иглами, затем посыпают цветочной пылью – то есть красят... Да! Представляешь? Там у них – целая фабрика по производству северных сияний. Но всё это я увидел после... А сначала, когда только прочухался, гляжу – Дворец-Леденец сияет на возвышении. Я подошёл. От него – точно от айсберга – холо-дом тянет издалека. Только холод необычный. Мятный холо-док такой. Леденцовый. Ну, я немного потоптался на пороге, как бедный родственник. Покашлял для приличия. Вошёл. Страшновато, но всё же иду по льду. Иду и удивляюсь – не скользко. Рукой потрогал – лёд кругом. И не холодно. Захо-жу в просторный зал. Вижу трон. И сидит на троне седобо-родый Царь-Север. Рядом – Царица-Северица. Или как там её звать? Не знаю, не помню. А около них крутится, играет мальчик. Вроде как – царевич. А неподалеку – ручной мед-ведь. Точнее – медвежонок. Забавный такой. Одно ухо как будто надорвано – белым лопухом болтается...

Храбореев побледнел.

– Вот ведь как! – пробормотал он и невольно припечатал кулаком по столу. Бутылка с недопитым «чаем» зашевели-лась, зазвенели стаканы, готовые пуститься в пляс.

– Ты чего озверел? – в недоумении спросил Мастаков.

– Извини. – Северьяныч взял папиросы и отвернулся к тёмному окну, за которым бесилась пурга. – Что дальше-то? Летчик помолчал, глядя на сутулую спину соседа.

– А дальше... – Он вздохнул, сбитый с тихого и плавного течения. – Дальше седобородый Царь-Север спрашивает у меня. Что, мол, заблудился, добрый молодец? Я говорю, не мудрено в такую-то погоду. Меня уж там, наверное, похоронили... Царь-Север улыбается: не беспокойся, мол, тебя похоронят не скоро и не здесь. Мне интересно стало. «А где же?» Он помолчал и говорит: «На берегу Чёрного моря. В солнечной Анапе». Так прямо и сказал. Ага. Потом поправил корону золотую на голове и слегка пристукнул длинным золоченым жезлом, из-под которого вылетела ледяная звезда. Не простая звезда – путеводная. А потом и говорит мальчонке своему, царевичу, иди, мол, проводи человека.

Царевич в руки взял тот путеводный огонь, переливающийся цветами радуги. Подошёл ко мне и улыбнулся. Ей-богу, никогда я не видел на Земле ни одной такой улыбки – чистой, можно сказать, святой.

И вот мы с ним пошли. Сделали десять, а может, пятнадцать шагов. И я обомлел. Смотрю – уже стоим у горизонта. Нет, это был не горизонт – край света, край земли, возле которого и находился Дворец-Леденец. Я когда глянул вниз – ох, мать моя! вот это да! Там, внизу, мерцали мириады звёзд, рассыпанные во Вселенной. Только я не узнавал те звезды.

Рисунки созвездий были совсем другие, не такие, какие мы привыкли видеть с Земли. «Так что же это? Где я?» – спрашиваю. А мальчик-царёк отвечает: «На Полярной звезде».

Потом он проводил меня до самолета и передал ледяную путеводную звезду. «Когда взлетите – выпустите, она вам укажет дорогу на Землю». Помню, царёк ещё какие-то инструкции давал. Но у меня уже работали моторы, я плохо слышал. Ну, взлетел. Смотрю и слушаю: полёт нормальный... И приземлился нормально... У всех у наших мужиков на аэродроме – вот такие вот глаза. По чайнику. Все думали, разбился я. Гроза-то была не шуточная.

Мастаков закурил.

Северьянович тоже.

– Ну? – поторопил. – Что дальше?

– А что? – Лётчик пожал плечами. – Тут бы можно было бы поставить точку. Но это не всё. Снежана, супружница, вечером дома вещи мои стала разбирать и обнаружила какой-то изумительный лоскут, светящийся впотьмах.

– Что это, Абросим? – спрашивает.

Я возьми да брякни:

– Северное сияние!

Она улыбается. Не верит, конечно.

– Нет, ну серьезно...

«Да уж куда серьезней! – сам себе думаю. – Рассказать ей правду? Скажет – рехнулся. Да и в самом деле, кто поверит в эту историю?»

– Я за границей был, – говорю. – В Канаде. Вот и привез подарок...

В общем-то, я не соврал. Я и в самом деле побывал за границей Земли. В каком-то другом измерении. Это я теперь прекрасно понимаю. А тогда... Ну, короче, Снежанка моя повертела диковинный лоскут полярного сияния и говорит:

– Вот буржуи проклятые! Как научились делать, просто загляденье!

Тут я не вытерпел и отвечаю:

– О, это ещё что! Вот видела бы ты... Кха-кха... – И тут я спохватился и рукой махнул. – Потом, говорю, как-нибудь расскажу. А сейчас пойду, залезу в душ – и спать. Устал.

Снежанка мне:

– Ложись, конечно. Отдыхай.

А ночью тот сказочный лоскут пропал из дома. Бездарно так пропал. Я до сих пор жалею. Что случилось? Это я после уже догадался. Форточка была открыта – я спать люблю с открытой форточкой. А волшебный тот лоскут был такой лёгкий – отзывался на любое дуновение ветерка. Вот он и улетел в раскрытую фрамугу – туда, где полыхало вдалеке за городом морозное полярное сияние...

Такая вот, соседushка, история. Хочешь, верь, хочешь, нет. Я ведь и совру – не дорого возьму.

История эта несказанно взволновала Храбореева. Глубоко задумавшись, он молча накатил себе полный стакан, проглотил и даже на закуску не посмотрел.

«Вот это он не пьёт! – изумился лётчик. – Видно, сказкой этой зацепил я какую-то больную струнку в душе соседа. Снежанка что-то говорила... На материке у них беда стряслась. Мальчишка, вроде, погиб...»

– Значит, Царёк, говоришь? Северок? – уточнил Храбореев, напряжённо глядя куда-то мимо летчика. – Белый медвежонок, говоришь? С левым надорванным ухом? А темной подпалины не было сзади?

– Не знаю, – уже как-то очень серьезно сказал Мастаков. – Я не видел.

– Так, может, была? Он же к тебе задом не поворачивался?

– Нет. Медвежонок культурный попался. – Лётчик хотел улыбнуться, но улыбка получилась помятая. Мастаков заметил, как сильно сосед переменился в лице. Болезненно как-то переменился.

– А какие глаза у Царька-Северка? Не запомнил? А ну, посмотри на меня... Не такие глаза?

Летчику стало неуютно. Он передёрнул плечами.

– Похоже... – прошептал он. – Да, наверно, такие, как у тебя...

Храбореев скорчил странную гримасу: верхней губой попытался до носа дотянуться. Помолчал, глядя в пол.

– А дорого это? – неожиданно спросил, глазами показав на потолок. – Если – туда и обратно? Много надо бензину? Или это... вы же на керосине летаете?

Мастаков нахмурился. Бровь почесал.

– Я не понял... Куда? – пробормотал он. – Куда ты собрался лететь?

– Здравствуйте, я ваша тётя! – Храбореев развёл руками – они слегка подрагивали. – Мы о чём весь вечер говорим?

До Мастакова стало доходить. Он даже моментально протрезвел. Лупоглазо посмотрел на чудака-соседа. Хмыкнул. По кухне потоптался. Криво улыбаясь, сказал по-свойски:

– Ну, ты что, сосед? Ей-богу... Да я же всё наврал! Неужели не ясно?

Храбореев посмотрел на него – как на врага.

– Как это – наврал?

– Ну, сочинил. Кха-кха... Как Антуан де Сент-Экзюпери. Только хуже.

Разволновавшийся Храбореев какое-то время буравил глазами несчастного «Экзюпери».

– Сочинил? Тогда откуда же ты знаешь про оторванное левое ухо у медвежонка?

– Да не было! – Мастаков швырнул окурок на пол и затоптал. – Не было никакого оторванного уха. Ты что, в самом деле? Это я для ребятишек своих сочинил... Да, была гро-

за. И шаровая молния была. Летела передо мной по курсу. А остальное...

Храбореев долго молчал. Лицо было скорбным. Усталым.  
– Я понимаю, некогда тебе... – Он глубоко вздохнул. – Но ты же где-то там недалеко мотаешься. Над океаном... Свернули бы чуток, слетали. Мне бы хоть одним глазком взглянуть...

«Господи! – Лётчик похолодел. – Да он что? Совсем уже...»

Обескуражено качая головой, Мастаков поднял растоптанный окурочок и от растерянности заново чуть не прикурил. Спихватился и выбросил в форточку – в морду рычащей пурги. Взял бутылку – вылил в раковину остатки «чая». Со стола прибрал – всё до последней крошки. Постоял возле окна, заложивши руки за спину, всем своим видом давая понять, что ему охота побыть одному. Но Храбореев не уходил. Лётчик покосился на него и неожиданно хохотнул.

– А что? Может, и правда попробовать? Главное, с начальством договориться. И керосину побольше...

Пурга за окном утихала. Проступали контуры созвездий. Северьяныч посмотрел на небо и сказал – всё с тем же скорбным и усталым выражением лица:

– Надо попробовать. Дорогу ты знаешь, и тебя там знают как облупленного. – Он пальцем показал на небо, мерцающее в раскрытой форточке. – Да и я там буду, между прочим, далеко не чужим человеком. У меня ведь родная кровинка

живёт на Полярной звезде!

Зрачки у Мастакова заметно расширились. Он хотел что-то сказать, но понял, что теперь ему лучше благоразумно помалкивать и ничему не удивляться. «Я и так тут слишком много наболтал! – покаянно подумал лётчик. – Да кто же знал?..»

Через несколько минут, проводив соседа, он обалдело уставился на живописное чистое небо, разгоревшееся над городом и тундрой – из окна далеко было видно.

Абросим Алексеевич не знал, что подумать про чужака-соседа. Не глупый как будто мужик, а такую околесицу понёс, не дай бог...

## 8

В библиотеке Антон Северьяныч раздобыл звёздный атлас и после работы по ночам подолгу просиживал над страницами, посвящёнными Полярной звезде. Он уже знал наизусть, что эта Полярная звезда – Альфа Малой Медведицы, а также Киносура – звезда второй величины в созвездии Малой Медведицы, расположенная вблизи Северного полюса мира. Он знал, что это – сверхгигант спектрального класса. Он знал, что надо будет пролететь от Земли до этой Звезды всего лишь каких-нибудь 323 световых года. И это его радовало хотя бы потому, что раньше – ещё совсем недавно – расстояние от Земли до Полярной звезды составляло



434 световых года. Значит, ошибались учёные мужи? Так, может быть, они снова ошибаются? Может, лететь туда – гораздо ближе? А как узнать? Да просто. Надо взять и попробовать. Не жалеть керосин.

Отстранённо и нежно улыбаясь чему-то, Храбореев курил на кухне и сосредоточенно делал на бумаге какие-то пометки, чертежи, расчёты.

– Ты что там всё чертишь? – зевая, иногда интересовалась жена, заглядывая на кухню. – Или тебя перевели в конструкторское бюро?

Он помалкивал, как заговорщик, только ещё нежнее и шире улыбался. Но однажды в полночь он проговорился, присев на край постели:

– Я думаю, что мы с ним скоро встретимся!

– С кем? – сонливо спросила Марья. – Ты про кого?

– Про Царька-Северка...

– А кто это?

Антон Северьяныч разволновался. Опять ушёл на кухню, закурил. Звёздный атлас в потёмках погладил, мечтательно глядя за окно и вздыхая. И при этом глаза у него золотились какими-то сумасбродными звёздами.

# Божий промысел

## 1

Робкая весна капелью постучалась... Полярное солнце, за зиму насидевшееся в подземной темнице, на волю выкапилось, горело яростно, ошеломительно – круглые сутки. В тундре появились пуночки, лапландский подорожник, хищная птица зимняк. Сахарные влажные снега подёрнулись голубоватою дымкой, испариной. Кое-где растрескивался камень – пробирало незакатным жаром. Лёд на реках и озёрах пронзительно попискивал – будто стеклорезом полосовали. Развеселились поползни, чечётки. Засвистели рябчики. Заслышалось приглушенное бормотание косачей. Глухари, разминая крылья, делали пробные вылеты на токовище. Жизнь ликовала после дикой стужи.

Каждые субботу и воскресенье Антон Северьяныч вставал на лыжи и ускользал – в сияющую тундру. Только на лыжах далеко не убежишь – за десять, ну, от силы, за двадцать километров от города. Конечно, это хорошо, но не «фонтан». Храбореев деньжат подкопил, мотонарты купил. (Слово «снегоход» тогда ещё не выдумали). Он купил «Амурца» – самую по тем годам расхожую модель. Это был такой циклоп – с одною фарой, с туповатой мордой, на двух голена-

стых, вперёд выступающих лыжах. Теперь этот «Амурец» – как ископаемый мамонт – где-нибудь в музее под стеклом стоит, вызывая улыбки и ухмылки посетителей, а тогда...

Тогда ему с «Амурцем» жить стало веселее и свободней. Храбореев брал отгулы и на недельку пропадал в голубовато-сизой заманчивой дали, где проступали горы, словно призраки, парящие по-над землёй. Ему всё больше нравилось уединение. Всё внимательней и зорче становились у него глаза – хотелось присмотреться к великому и пёстрому миру. Тишину всей душою хотелось послушать – это очень редкое хотение для современных людей, полюбивших окружать себя шумом, гамом и треском, который заглушает всё очарование природы.

Однажды Северьяныч возвращался в город и по дороге встретил своих знакомых – с медного завода. Мужики тоже были на мотонартах – с прицепом, который накрыт брезентом и перевязан верёвками. Среди знакомых оказался лобастый рыжий парень – Меднолобый, так его Храбореев прозвал. Меднолобый непонятно за что невзлюбил Северьяныча, подкалывал нередко, ехидничал по поводу и без.

Они постояли на «перекрестке» двух дорог, протоптанных мотонартами. Покурили. От красных камней, выступающих из-под снега на обочине, пар валил как от кусков сырого мяса.

Анатолий Силычев, старший среди мужиков, сказал, сдвигая шапку на затылок:

– Припекает! Будто в плавильном цеху!

– Припекает, – с улыбкой согласился Храбореев. – Особенно вчера так припекло – едва не околел!

– Это где же?

– А тут, за перевалом, в избе заночевал.

– Ну-у! – поддержали мужики. – Там изба такая – решето, а не изба... А там клевало?

– Не так, чтобы очень. А вы? – Храбореев глазами показал на прицеп. – Я смотрю, нагрузились?

– Ерунда. Дрова с собой возили, да так... по мелочам...

– Ну, ладно, – сказал Северьяныч, бросая окурок. – Пора.

– Ты всё время один, – заметил Анатолий Силычев. – Не боишься?

– А что? – Северьяныч улыбался. – Медведь шалит?

Медный лоб возьми да брякни:

– Медведь-то ещё спит. А медвежонок балует.

– Медвежонок? – Северьяныч напрягся, глядя вдаль.

Медный Лоб, как видно, знал, что говорил; не просто так буровил.

– Ну, да, – продолжал он, сплюнув на чистый снег. – Белый такой медвежонок. С левым надорванным ухом. Я на прошлой неделе в тундру пошел...

Силычев небрежно перебил меднолобого:

– Ты на прошлой неделе пил, как собака, так что не надо «ля-ля»... – Он сурово посмотрел на Храбореева. – А ты, Северьяныч, смотри, осторожней... Медведь – это само со-

бой. Весна. Но дело не только в этом. Ты же один всё время.

– Да я привык.

– Привык – это, брат, не считается. Мотор сломается, к примеру, или ногу подвернешь – тьфу, тьфу. И что тогда? Привык! Позавчера вон... Может, слышал, нет? Нашли тут одного. В трусах и в майке.

– Что? – Храбореев усмехнулся. – Загорал?

– Замерзал.

– А зачем же он раздевался? Замерзал – и разделся?

Опытный Акимов рассказал: когда человек замерзает, он доходит до такого умопомрачения, что вдруг начинает испытывать странный, необыкновенный жар – как в бане – и поэтому снимает всё лишнее с себя.

Мужики погнали дальше, а Храбореев долго курил ещё возле «Амурца». Глаза катал по горизонту, что-то выискивал. Проклятый Медный лоб разбередил ему душу.

«Ехидный чёрт! Но откуда он узнал о медвежонке с надорванным ухом? – удивился Храбореев и посмотрел на небо, где в эти минуты летел самолёт – серебристый инверсионный след растянулся над тундрой. – Неужели Мастаков расстрепался? Да нет, не такой он мужик. Да и некогда ему, летуну, дружбу водить с такими дураками, как Медный лоб...»

Храбореев забывал или подсознательно упускал из виду одну деталь: раза три уже, когда он крепко выпивал, он приезжал в магазин детских игрушек и всех медведей поднимал там если не на уши, то за уши – буквально. Он искал како-

го-то особенного медвежонка – белого с левым надорванным ухом. А продавщица в магазине детских игрушек – одна из трёх – жена этого ехидного Меднолобого парня. Всё очень просто.

Самолёт, серебристым ножом располозовавший синюю буханку небосвода, сверкая красновато-ржаными крошками на лезвии крыла, сделал небольшой вираж и пропал где-то за горами – в стороне Северного Ледовитого океана.

И Храборееву захотелось туда же – в безбрежность тундры, в беспредельность океана.

«Бросать надо завод! – подумал он уже не в первый раз. – Надо в тундру уходить. Может, где повстречаю Царька-Северка...»

Он завёл мотонарты – поехал по распадку, где ещё лежали нетронутые, крепкие снега. Но чем ближе к городу он приближался, тем сильнее морщился.

В тундре весна смотрелась – как невеста в белом. Вся она блестела и горела дорогами нарядами, алмазными украшениями. Сияла синими влюбленными глазами. А в городе та же весна – все равно что баба, или замухрышка в засаленном платье, унылая, замордованная работой по дому. В городе, в тесном и замкнутом каменном пространстве, весна ощущалась только по грязному прелому снегу, угарно дымившему на солнцепеке, точно угольная пыль, плохо разгоравшаяся в печке. Сосульки нарастали на крышах. Длинные толстые колья, сорвавшись, могли человека проколоть с такой

же легкостью, как булавка прокалывает бабочку. Весна обнажала мусор, банки-склянки, бумаги, облупленные серые дома, улочки и тупики. Пудами и тоннами на город за зиму навалилось разное пахучее добро, в переизбытке вылетающее из-под хвоста неутомимого советского молоха, кошмарно чернящего небо и землю – во имя светлого будущего.

## 2

Весенним вечером Храбореев, как обычно, отмантулил на заводе, принял душ после смены, переоделся в чистое и приехал домой. Поужинать собрался, но посмотрел в окно...

– Чайки! – закричал он таким голосом, каким обычно кричат: «Пожар!»

Жена за стенкой вздрогнула и что-то уронила на пол. Прибежала на кухню – в недоумении уставилась на плиту.

– Чайник? – спросила. – Я вскипятила чайник.

Он хохотнул:

– Чайки, Марья! Чайки!

Добродушные глаза жены сделались «по чайнику». Ещё не веря, но, уже улыбаясь, женщина припала к прохладному оконному стеклу.

– Где? Ой, правда! Лапушки! – Взволнованный голос её потеплел. – Ну, летите, летите сюда! Мы вас не обидим!

Появившись откуда-то со стороны Медвежьей горы, налегая крыльями на ветер, чайки – их было штук семь – плава-

но хороводили над озером. И вдруг стремительно свалились вниз и влево. Будто услышали Марью Дорофеевну. Они пролетели так близко под окнами – даже видно было, как подрагивает розоватое оперение; закатное солнце подкрасило. Красные лапы, как цветы, прижаты к пушистому брюшку.

– Розовая чайка? – радостно спросила жена.

– Откуда? Обыкновенная.

– Розовая!

– Ага! – насмешливо сказал он. – За розовой чайкой надо походить, ноги побить. А ты хочешь, чтобы она к тебе в форточку залетела?

– Хочу.

– И я не против, Марья. Но так ведь не бывает.

Обрадовавшись птицам, хлюпая мокрым носом, жена прошептала:

– Весна! О, господи, как я соскучилась...

Храбореев верхней губой до носа дотянулся. Стиснув зубы, прошёлся по комнате. Глаза его, только что весело гулявшие за окном, сделались тусклыми, скучными.

– Может, вернемся в Тулу? – неуверенно предложил он.

– Зачем? Чтобы оттуда через полгода снова сюда улететь? Как в позапрошлом году... – Вздыхая, Марья Дорофеевна отрицательно покачала головой, куда вплелась не по годам густая рваная полоска белизны. Солнце, светившее за окном, так озарило голову жены – седина вдруг показалась розовой.

– Эх, ты! – Он погладил жену по волосам. – Чайка моя...



чайка розовая.

Марья Дорофеевна зазвякала посудой.

– Давай к столу.

Отойдя от окна, Северьяныч открыл холодильник и с молчаливым остервенением нахлестал себе водки. Позвенел, поиграл тёмно-ореховым ногтем по граненому стакану.

– Надоело на заводе! Сдохну от скуки. Или сопьюсь.

– Ну, так не пей. Сколько держался! Я не могла нарадоваться...

– И я бы рад, да только это... врачи рекомендуют. Храбровеев кисловато улыбнулся. – Без водки, говорят, нельзя на Севере...

– Ну, конечно! Не один уже без водки помер тут!

– А ты как думала? Мне мужики в курилке рассказали. Доктор в морге показал два трупа. Один покойник пил, а второй – ни капельки... Доктор говорит, вот, посмотри, какие вены у того, кто пил – эластичные, будто резиновые. А вот, глядите, мол, какие вены у того, который берёт своё здоровье...

Жена поморщилась.

– Фу, ну что ты за столом болтаешь? Как самому-то не противно?

– Противно, – тихо сказал он о чем-то своём. – Только начинаю привыкать, вот что печально.

Слепое раздражение просило выхода. Собираясь выпить и закусить, он вдруг отодвинул тарелку, на которой колыхался

кусочек бледновато-розового мяса.

– Оленина опять не доварена! Сколько тебе говорить?

Женщина в недоумении заглянула в кастрюлю. Потыкала вилкой.

– Я хорошо варила. Долго.

– Переварила, значит!

Жена от растерянности выронила вилку – та зазвенела, покатилась по полу.

– Вот и угоди тебе, – сказала, наклоняясь.

Он глазами впился в её затылок.

– Что ты вечно стараешься, чтобы слово твоё было последним?

– Ну что ты! – Марья Дорофеевна выпрямилась. Вилку на стол положила. – Не дай же бог, чтобы слово моё было последним. Я пожить ещё хочу.

– Ты прекрасно понимаешь, о чём я... – Он ещё больше разгневался. – И не надо со мной таким тоном... Говоришь, ё-моё... как с придурком лагерным.

Женщина вздохнула, опуская глаза.

– Всё. Молчу.

– Давно пора.

Он жадно выпил водки. Кадык утробно ухал, загоняя глоток за глотком. В груди полыхнуло ядовитым пожаром. В голове загудело. Он зубы затиснул от радости. Походил по квартире. Ладонью провёл по ребрам: что-то болело там, саднило... «Что надо, чёрт возьми? Отличная квартирка.

Светлая, теплая. И обставлена – не хуже, чем у людей. И деньги лежат на книжке. Хорошо можно скататься в отпуск на материк. Что надо-то? – спрашивал себя. И отвечал: – Воли! Воли надо!»

Шикарные фотообои, уже заметно потускневшие, привлекли внимание Антона Северьяныча. Он постоял, разглядывая реки и озёра. Посмотрел на остроконечную вершину какой-то крутой горы, на которую карабкалась фигура путника, похожего на муравья.

«Вот так и я... – подумал он, – застрял на одном месте... Ищу виновных...»

Отвернувшись от крутой вершины, Храбореев подошёл к жене. Обнял. Прижался головою – к голове. И глубоко вдохнул родимый аромат. И полегчало вроде. И он отмяк. Много у него в характере накручено-наверчено, только там была одна великолепная черта: если не прав – никогда не будет гнуть гордыню.

Усмехнувшись, он вернулся к ужину.

– Что-то совсем я... Как профессор кислых щей.

И жена «оттаяла», уловивши перемену в нём. Стала себя поругивать:

– А может, правда, кислые? Может, я заболталась по телефону, не доглядела.

– Нормальные щи, – похвалил он. – Отличные. Плеснёшь на таракана – сразу дуба даст.

Марья засмеялась. Она любила его такого – с юмором, с

широкой душой, на всех парусах пролетающей мимо житейских мелочей.

Храбореев ел быстро – так же, как работал. Отодвинув пустую чашку, он снова о чём-то задумался. Посмотрел за окно – точно прицелился.

– Мастаков на отстрел оленя приглашает.

– Наш сосед? А он что теперь – охотой занимается?

– Зачем? Летает. Он обещал потолковать кое с кем. Чтобы меня в бригаду взяли.

Жена помолчала, перебирая складки кухонного фартука.

– Ну, так иди, если нравится.

– В том-то и дело. Что-то я не очень... – Он поморщился. – Отстрел! Бедолаги переправляются по реке, а их колошматят с моторки... Нет, меня это не вдохновляет!

– А что же тебя вдохновляет?

– Розовая чайка! – Он улыбнулся. – На озёра пойти бы. Там артель рыбаков. Вот это – по мне.

И опять помолчала жена.

– Так иди.

Глаза его озарились радостью. Он папиросы взял.

– А ты?

– А я-то что? – Она смахнула крошки со стола. – Ты и мне предлагаешь заняться... отстрелом этим? Или рыбалкой?

– Я про другое... Как тебе-то здесь – одной? Будешь куковать, как в клетке...

Губы у женщины подрагивали.

– Делай, как знаешь. Я ведь вижу, ты изводишься! – Отвернувшись, она посмотрела за окошко. Глаза мокро взблеснули...

### 3

С артелью рыбаков он два года куролесил по Крайнему Северу. И летом, и зимою добывали чира, сига, пелядь, тайменя, муксуна. Душа наконец-то обрела желанную жгучую волю – среди безбрежного полярного пространства, диковато дивного хоть летом, хоть зимой. Летом, конечно, лучше здесь, только гнуса полно. Серой горячей золой насыпается проклятый – до крови, до костей, а то и до смерти загрызает не только человека, но и зверя, одетого шерстью. И все-таки летом работа шла с удовольствием. А зимою приходилось упираться, как на чёртовой каменоломне. До кровавых мозолей колотили пешнями, выдалбливая глубокие майны во льду, по ступеням спускаясь к воде.

Была зима – начало ноября. Солнце по утрам ещё вставало, к полудню заползало на горбушку неба, но делало это с трудом, с неохотой.

Артель остервенело вгрызалась в очередную майну. Мужики запарились, но инструмент из рук никто не выпускал. Косились на бригадира – широкоплечего долговязого белоруса по фамилии Канюшина. Неутомимый бугай. Выносливый. Голыми руками на сорокоградусном морозе Казимир

Канюшина запросто гайки крутил, налаживая мотонарты. Сети вытаскивал, когда подледным ловом занимался. Рыба к рукам прирастала, а ему хоть бы хны.

У него, артельного атамана, всегда в первую голову была забота о «казаках». Переставая махать кайлом, осаживая себя, Казимир поглядел из-под густых бровей, обмётанных нитками инея. Отбросил инструмент. А вслед за ним и остальные это сделали.

– Перекур! – пробасил Канюшина. – Травитесь, чертяки.

Сам артельный атаман не курит. Зарёкся с той поры, когда чуть не сгорел. Давненько это было; в ту пору только что закончилась полярная зима; праздник по поводу встречи первого солнца – хэйро – отшумел по северным городам и посёлкам. Канюшина вместе с другими рабочими, вахтовиками прилетел на газоконденсатное месторождение. Но какая там работа после праздника? Распухшие головы трескали у всех с похмелюги. Ну, полечились маленько в вагончике – выпили у кого что было «в закромах». Закурили, блаженствуя. Казимир захрапел на кровати – аж стекло в окошке задрожало. Папироска выпала. Сначала тряпка тлела на полу, потом вагончик задымил. Канистра с бензином стояла в углу, как на грех. Жахнуло так, что босиком бежали по сугробам... И вот с тех пор – как бабка отшептала – бросил курить Канюшина. «Лучше румку водки или спирту садануть, чем сосать эту гадость!» – говорил Казимир.

Храбореев любил пофилософствовать во время перекура.

– Зимний способ ловли применялся ещё нашими прадедами, – сказал, кивая на майну. – Но тогда-то хоть понятно было – соль дороже золота. Зимой ловили, чтоб не солить. А теперь-то зачем упираться? Соль дешёвая.

Бригадир не уловил намека.

– Ты куда это клонишь?

Северьяныч ухмыльнулся.

– Летом бы ловили да солили, а зимою – отдыхай, ребята.

– Ага! – Атаман хохотнул. – Иди, скажи начальству.

– Ты – бугор, тебе и говорить.

Канюшина «бугром» недавно стал. Немного возгордился руководящей должностью. Походка изменилась, осанка и даже цвет лица. Роба теперь у Казимира – постоянно красная. Если не от мороза, так от «румки» спирту. Маленькие светлые глаза у бригадира будто серым мохом обросли – бровями занавесились. Шевеля бровями, он выпрастывал глаза – смотрел сурово. Начальника изображал. Но поговорить с ним интересно – это факт.

Храбореев спросил:

– Слышь, бугор, а как они раньше ловили? Предки-то.

– Ставными сетями.

Глядя на озеро, Северьяныч пытался представить ловлю ставными сетями.

– Ума не приложу. Как они управлялись?

Затаив ухмылку, Канюшина пошевелил лохматыми бровями.

– А потому что – нечего прикладывать.

– Что «нечего»?

– Ты говоришь – ума не приложу...

Храбореев засмеялся.

– Один ноль. А если тебе, Казик, есть, что прикладывать, – Храбореев постучал по своей шапке, – Расскажи тогда. Прочти ликбез.

– Уговорил. Значит, так. Брали тетиву... – Казимир показывал на пальцах. – Брали норило...

– Кого-о?

Артельный атаман развел руками, что-то изображая:

– Длинный тонкий шест у них имелся, так называемое «норило», для продёргивания тетивы ставных сетей. При помощи такого «норила» подо льдом тянули тетиву от лунки к лунке.

– Интересно. – Северьяныч задумался, глядя вдаль. – А название Норильска – не от этого «норила»?

– Может быть. Не знаю, врать не буду.

– А про это «норило» ты откуда узнал?

– Книжки надо читать, а не только лаптем щи хлебать, – не без гонора ответил бугор.

– Да что ты говоришь? – Храбореев хмыкнул. – А что ты мне можешь сказать по поводу Лаптева? А? Что ты скромненько молчишь? Так я тебе скажу. Он хотя и Лаптев был, но лаптем не был. В 1733 году этот Лаптев был руководителем Великой Северной экспедиции, отправленной ещё Пет-



ром Первым для поиска северного морского пути. И вот когда этот Лаптев писал отчёты о своей экспедиции, там была «река Норильская», хребет «Норильский камень». И никакого «норила» там почему-то не было.

Бригадир, слегка смущённый эрудицией Храбореева, за нервничал. Поднялся.

– Так, ну, ладно, – сказал он, поправляя шапку, – хватит трепаться. План горит, мужики, несмотря на морозы!

Перекур закончился. И опять засверкали стальные орудия. Разлетаясь, зазвенели голубые хрусталики. Острые льдинки секли по глазам, по щекам, иголками втыкались в заиндевелые бороды. На морозе пар валил от телогреек, разгоряченно распахнутых, а то и вовсе скинутых под ноги.

На поверхности озера Храбореев работал без проблем, без усталости, а когда углублялся под лёд – что-то с ним происходило... непонятно – что.

Аквамариновая майна со светлыми виноградными гроздьями вмерзшего воздуха дышала мятным холодом в лицо. Забываясь, Антон Северьяныч заворожённо смотрел куда-то сквозь толщу льда. Щёки бледнели, точно обмораживались. А потом Храбореев начинал как-то странно, блаженненько улыбаться. Он вспоминал те времена, когда в руках его был не вот этот топор-ледоруб, а совсем другой топор – тот, которым он рубил себе добротную избу на берегу Колдовского озера. Ах, как звенел тогда топор! Спозаранку вызванивал. Жадно вгрызался в дерево. Шумно плескался в пене белых

запашистых щепок. Неутомимо взмахивал стальными крыльями, словно собирался лететь на небеса. Наклоняясь, Антон Северьяныч поднимал какую-то ледяную щепку и очень внимательно, тщательно разглядывал её, как будто рассматривал под микроскопом. И этот странный, мощный «микроскоп» давал ему возможность видеть то, что никому не видно и никому не ведомо. Поначалу перед глазами Храбореева сверкала изба, стоящая на берегу Колдовского. А затем – когда он поворачивал ледяной осколок – перед ним сияла Полярная звезда. Волшебный Дворец-Леденец переливался всеми цветами радуги. От него тянуло холодком, только совсем не таким, какой всегда бывает на Земле. Это был приятный, тёплый холодок, пахнувший мятной конфетой. Глубоко вдыхая запах мяты, Северьяныч вошёл во дворец, посмотрел под ноги и удивился: вот он идёт, а ему ни капельки не скользко. Вот он рукой потрогал лёд, а ему нисколько не холодно. Вот он заходит в просторный зал, а там сидит на троне седобородый Царь-Север. А рядом с ним – Царица-Северица. А возле них – царевич. А неподалёку – забавный медвежонок. Белый-белый. Живой...

– Эй, ты! – неожиданно крикнул Царь-Север. – Ты живой или помер?

Встряхнув головой, Храбореев маленько прочухался.

«Это кто? – подумал он. – Это Канюшина снова разорался?..»

Да, это бригадир кричал неподалёку. Поторапливал.

На мгновение выходя из забытья, Храбореев снова погрузился в свой удивительный сказочный мир. Стоял – не слышал того, что рядом. В него бросали осколок льда. И всё равно Северьяныч не реагировал.

Мужики в бригаде переглядывались.

– Чего это он? – говорили вполголоса. – Стоит, будто кол проглотил!..

– Эй, дядя! – снова кричал Канюшина. – Проснись и пойд!

И, наконец-то, вздрогнув, Храбореев поворачивал голову. Незрячими глазами смотрел по сторонам.

– Ну его к чёрту... – Бросая ледяной кусок, говорил он, ни к кому не обращаясь, на карачках выползая наружу.

Казимир, задирая рукав, демонстративно смотрел на часы.

– Не понял юмора. Три минуты поработал и перекур? Так, что ли? Стахановец.

– Так! – утомлённо отвечал Северьяныч.

– Это что? Саботаж? – «бугор» пытался говорить повеселее, чтобы не осложнять отношения.

– Саботаж, саботаж... – машинально соглашался Храбореев.

Бригадир, принимая это на свой счёт, заводился.

– Ты не сачкуй! Работай! Все пашут, а он...

– Работа не волк.

– Правильно. У нас работа – рыба. Так что хватит...

– Не ори.

– Иди, работай, говорю.

– А я говорю: не ори.

Неспешно вынимая папиросы, Храбореев прикуривал, задумчиво глядя на спичку. Отворачивался от бригадира. Вернее – от майны, чтобы душу не травить «ледяной могилой». А бригадиру казалось – это он нарочно зад показывает. «Сука! Я тебе припомню саботаж!»

Перекурив, пересилив себя, Северьяныч опять спускался в ледяной забой. Остервенело рубил топором-ледорубом, колотил пешней, вгрызаясь в голубовато-изумрудные глубины. Пешня мелькала – трудно проследить за ней. Добела отполированный наконечник с такою силою втыкался в каменную глыбу льда – горячие искры вот-вот полетят... Но через несколько минут Храбореев снова замирал, широко раззявленными глазами проваливаясь в могильный морок мёрзлого озера. Теперь ему казалось, что это Колдовское, в котором он ищет сына.

Заподозрив что-то неладное, Канюшина стал говорить спокойно, даже с сочувствием:

– Да что это с тобой? Опять полез наверх? Или тебе не здоровится?

Молоденький Плацуха, без году неделя работавший в бригаде, желая «прогнуться» перед начальством, громко сказал:

– Бугор! Да понос у него! Чо тут думать?

Артельщики зареготали.

Глядя на весёлую, будто салом смазанную, физионо-

мию молоденького подхалима, Храбореев взорвался. Схватил пешню, метнул – точно копье. Полыхая наконечником, пешня со свистом прострелила по-над ухом изумленного парня – на вершок воткнулась в лёд, разбрызгивая звонкие стекляшки.

– Щенок! – сквозь зубы сказал Храбореев. – Я в следующий раз не промахнусь!

Плацуха побелел, попятился и, едва не упав, на трясущихся ногах отбежал подальше.

– Сволота! – закричал, срываясь на фальцет. – Бугор! Ты видел? Покушение на жизнь. Статья двести семьдесят семь! Да я тебя, подлюгу, засажу лет на...

– Ах ты, гнида... – Северьяныч пошёл – с кулаками наперевес.

Атаман зашевелился. Встал на защиту.

– Уймись! Больно горячий! – Навалившись сзади на Северьяныча, бригадир засопел. Руки стал выкручивать.

– А ну, пусти, бугор!

– Не ерепенься!

– Пусти, сказал. По-доброму прошу.

Казимир пригрозил:

– Я пущу! Дам коленом под ж..., будешь катиться до самого до этого... до Бледовитого океана.

Мужики опять захохотали, довольные; ловко, мол, управился бугор, заломил салазки Северьянычу. Но Храбореева не так-то просто одолеть. Бородатое лицо его налилось ки-

пящей кровью. Он присел и неожиданно распрямился – точно сработал железный шатун на железных суставах.

Тяжелая туша артельного атамана легко взлетела в воздух, беспомощно болтая руками и ногами. Казимир чуть не ухнул в майну – вниз башкой.

Артельщики так и застыли – как будто подавились хохотом. Потом они гурьбою подскочили к Северьянычу. Рыча и матерясь, повисли на нём, угрожая:

– Остынь! А то мы тебя в майне замуруем!

Эти угрозы только раззадорили его.

– Успокойся, Нюра! Это десантура!

Бешено сверкая раскалённым взглядом, он раскидал матёрых мужиков, точно котят. Взял пешню наперевес и занял оборону возле майны – встал таким образом, чтобы с тылу подойти не могли. Но никто ни спереди, ни сзади в эту минуту даже и не думал подходить – нарываться на верную смерть. Мужики демонстративно отвернулись, делая вид, что никакого дела им не было и нет до этого придурка.

Он постоял, хрипя от напряжения. Разбитою верхней губой попытался дотянуться до носа. Потом шумно сплюнул бригадиру под ноги, бросил пешню и устало, медленно пошёл, куда глаза глядели.

Увязая в сугробах, спотыкаясь о льдины, торчком вмерзшие в озеро, дошел до упора – до чёрной скалы, угловатой, изрядно изъеденной временем. Ветер, остро воющий на вершине скалы, не давал закрепиться ни деревцу, ни кусти-

ку – сбривал самую малую былинку.

Упираясь разгорячённым лбом в холодный голый камень, Храбореев заметил торчащий из трещины стебель незнакомого засохшего цветка, обряженного мохнатой изморозью. Остывая от сокрушительной ярости, он рассматривал мёрзлый цветок. Слушал, как горячее дыхание трещит и превращается в труху. Значит, завернуло под пятьдесят – выдыхаемый воздух смерзается и потрескивает при минус сорока пяти.

Отойдя от скалы, Храбореев остановился. Присел на камень, давней грозою отколотый от скалы. Тоскливо смотрел и смотрел на далёкие заснеженные горы. Смотрел и думал: там, за хребтами, на высокогорных тундровых пастбищах зимуют стада оленей, чтобы весной устремиться к берегам океана, оленят рожать в прохладных и зелёных тундровых привольях, где нет ни мошкары, ни калёной летающей «пули» под названием шмель.

Где-то в горах приглушенно гавкнул выстрел, – гулко раскатился в морозном воздухе. Белая былинка, стоявшая неподалёку от Северьяныча, – словно белая нитка, униженная стеклярусом, тихонько покачнулась, отзываясь на движение воздуха, – пушинки инея косо и лениво поплыли по студёному пространству, чтобы через несколько секунд бесследно раствориться в тишине.

И Северьяныч вдруг улыбнулся. Его осенило. Разбитая губа, потревоженная улыбкой, закровоточила ещё сильнее.

Сплюнутая кровь, замерзая, покатилась брусничной ягодой.

Возвратился он примерно через полчаса.

– Всё! – миролюбиво сказал, обращаясь ко всем. – Прости, атаман. И вы, казаки, не серчайте...

– Бог простит, – угрюмо ответил бригадир, почёсывая поясницу. – А премиальных тебе не видать, как собственных ушей!

Северьяныч улыбнулся, зачарованно глядя вдаль.

– Премиальные теперь я сам себе буду выписывать.

– Да? – Канюшина глаза увеличил. – Это как же?

– А так – одной левой.

– Ну, ну, посмотрим...

И снова Храбореев улыбнулся.

– Нет, бугор, ты не увидишь.

– Это почему?

Храбореев шапку снял, пригладил потные волосы.

– Слышь, бугор, – сказал он, глядя в небо. – А когда вертушка прилетит?

– Завтра. – Канюшина пожал плечами. – А тебе-то что? Зачем?

## 4

Рыбацкая хоромина стояла на пригорке. Над старою прожавленной трубой подрагивал еле заметный дымок.

Тяжело скрипя обувкою по снегу, Храбореев решительно



двинулся к тёмной, покосившейся избе. Там находился дежурный – печку топил, похлёбку варил. Глаза у дежурного были насторожённые и даже несколько испуганные – он, видимо, был уже в курсе произошедших событий. «У курсе», как говорил Канюшина. Дежурный так постарался, так подсутился – все ножи и вилки куда-то запропали.

«Вот это сдрейфили!» – подумал Антон Северьяныч, глядя в спину дежурного, торопливо и молча скрывающегося в дверях.

Он стал собирать нехитрые пожитки. Потом посидел у печи. Осмотрелся, глубоко вздыхая.

В рыбацкой хоромине в первую очередь пахло – естественно – рыбой. Здесь даже смола, протопившаяся на брёвнах, казалась золотистым рыбьим жиром. Да что там смола! Даже сами бревна – волнообразная желтовато-белая структура дерева – представлялась большими рыбинами, с которых топорами стесали мясо, обрубили сучки-позвонки. В избе с утра пораньше топилась печь – артельная, здоровая, куда на рассвете дежурный ставил замурзанный чугунный, двадцатилитровый жбан, в котором варится еда: и обед, и ужин. С утра тут было суетно, нервозно – никому не хотелось выходить на мороз, от которого зубы могли раскрошиться. Зато по вечерам здесь было так чудесно – не пересказать. Усталые артельщики, от еды и тепла разомлевшие – да если ещё по сто грамм пропустившие – вдруг становились неузнаваемыми. Куда-то уходила угрюмость, озлобленность, оттаива-

ли строгие и ожесточённые глаза. И слова у них под языками как будто бы тоже оттаивали – слова всё больше добрые, спокойные, слова, обращённые к дому своему, своей семье, к ненаглядной северной природе. Это было то краткое время, когда Храбореев уважал их всех – поголовно, что называется. Уважал и любил молчаливой мужицкой любовью. В такие минуты он был уверен, что вот это и есть – Народ, или частица Народа, на котором всегда стояла и стоит держава. Сколько тут было шуток, прибауток! Сколько тут сердечных историй открывалось – иногда весёлых, но чаще, увы, драматичных и даже трагичных. И ему было жалко, обидно до слёз, когда этот же самый Народ вдруг становился народом с маленькой буквы. Мужики превращались в каких-то мелких и плюгавых мужичков, что-то не поделивших, готовых глотку перегрызть друг другу из-за лишней рыбины или банки икры. Этот народ в нём вызывал презрение, потому что он бревна не видел в своём глазу – забывал, как сам он когда-то рвал и метал на озёрах и реках, браконьерским способом пытаясь разбогатеть.

Под ногами что-то затрещало, отвлекая от грустных раздумий. Храбореев раздавил поплавок – из-под кровати выкатился, когда он вещи собирал.

Дежурный вернулся – раскраснелся от мороза сильнее, чем от плиты.

– Собираешься? – с грустью спросил он. – А может, остался бы? А? Канюшина мне сейчас сказал, ты сходи, мол, на-

мекни ему, дураку, что вся артель не против...

Приятно было слышать этот жалкий лепет от губошлёпа-дежурного.

Человек – это всё же стадная животное, вот почему Храборееву вдруг стало жаль покидать уютную эту, хотя и убогую, рыбацкую хоромину. Здесь – в кругу артели – было теплей и надёжней. И всякое решение здесь принимали за тебя. А там, куда он теперь нацелился – там нужно будет всё брать на себя. А это нелегко. Порою даже очень нелегко. И потому сейчас, когда пришёл дежурный и залепетал; сейчас, когда он закурил «на посошок» – ему вдруг стало зябко возле печки. Зябко от того, что предстоит... И где-то в подсознании – глубоко в пещере потаённых мыслей – какой-то чёртик вильнул хвостом и стал ему нащёптывать: «Зачем, зачем тебе вся эта канитель? Здесь было так уютно и так сытно – возле этого артельного котла...»

– Да пошёл ты! – поднимаясь, сказал Северьяныч и вдруг засмеялся, обращаясь к дежурному: – Это я не тебе, не подумай худого...

Дежурный посмотрел на скрипнувшую дверь. Пожал плечами.

«А если не мне, то кому? – подумал он, озираясь. – А может, хорошо, если уедет? Станный всё-таки дядя...»

Вертушка прилетела по расписанию – привезла продукты, горючку для бензопил и новые отточенные цепи; старые или уже затупились, или порвались где-то в глубине могучей

майны.

Северьяныч улетел без сожаления.

Так началась его охотничья судьба – судьба одинокого полярного волка, всей душой полюбившего тундровые просторы. Жизнь таких вольных «волков» не отличается весельем, достатком или сытостью, но тот, кто вкусил этой воли, кто вдохнул в себя этот вселенский первозданный простор – тот уже свою судьбу не променяет ни на какие земные блага.

## 5

Весной – на переломе к полярному лету – в небесах над Севером становилось громко, тесно, весело. Из дальних уголков Земного шара – из Манчжурии, Африки, Нидерландов – опять сюда стремились перелётные птицы, горячим сердцем чувствуя магнитное поле Земли также безошибочно, как стрелка компаса. На родные «дворянские» гнёзда возвращались лебеди, гуси, журавли, краснозобые казарки и множество другого пернатого народонаселения. На открытых просторах тундры и под сенью таинственных потеплевших лесов затевались любовные игры.

Хорошо, любо-дорого вешними днями. Можно выйти из душного зимовья, сесть на пенёк, смотреть на Божий мир – не насмотреться. Вот промелькнула проворная кукушка. Трудяга. Не покладая крыльев, кукушка таскает в клюве оленью шерсть; раздобыла где-то, мастерит гнездо. Проголодав-

шись, кукушка опустилась около избушки. Хитровато скособочилась на охотничью лайку, дремлющую на солнцепеке. Подлетела, схватила из кормушки кусочек мяса – и тикать. А собака – ноль внимания и фунт презрения. Сытая, дурында, сонная. Лениво разлепив глаза, лайка зевнула и опять на боковую.

Охотник сердито сказал:

– Чо ты дрыхнешь? Тетеря. Она тебя скоро ограбит, а ты лежишь, ушами хлопаешь. Балда.

Да, в эту пору некогда «ушами хлопать».

Антон Северьяныч – теперь он уже опытный охотник – с утра пораньше покидает зимовье. Собака – следом. Бежит, строчит по вольному простору. Деревья, кусты обнюхивает и аж подвизгивает от удовольствия. Красота кругом и воздух ароматный – не надышаться. Воздух такой густой, что можно его кусать, жевать. И собака класает зубами в воздухе – ловит комара, облизывается. И радостно поскуливает, словно поёт. «Понимает, – глядя на собаку, улыбается охотник. – Такой красоты нигде не сыщешь днем с огнем!»

В эти весенние дни жизнь горячо и азартно спешит цвести, наперегонки торопится ликовать, любить и наслаждаться немеркнущим золотом полярного солнца. Обголубевший небосвод, отражаясь, плещется в озере. Лоскуты лазури латают ручейки и лужицы. Комары, мошка и всякая другая крылатая заноза звонко пересыпается в воздухе. Зелень – словно за уши тянут из-под земли; вчера ещё не видно бы-

ло, а сегодня загустела, восставала в полный рост. Зацвела камнеломка – с тихим треском в тишине ломает камень, словно дверцу открывает, выходит из своей темницы. Звездчатка там и тут виднеется живыми осколками упавшей звезды, разбившейся о тундровую твердь. Незабудки – век не забудешь северные эти глаза природы, в самую душу, кажется, глядят. Лютики солнечными пятнами колышутся на ветерке. Нежным пухом листочков оперяется кустарник полярной ивы – божье создание, высотой по два сантиметра, которое даже неловко называть кустарником; на бороде у Северьяныча и то «кустарник» больше вымахивает, если не бриться несколько дней. Под пологом деревьев бубенцами на ветках забренчали чечётки. Овсянка щедро сыпет мелкий свой зазвонистый «овёс»... Пеночка под ветром «вспенилась» – поёт и пляшет на зелёной ветке. Дрозды снуют, варакушки. Горделивый орлан-белохвост величаво проплывает в стороне, презрительно косится на птичью мелюзгу, – пернатый сор, который хозяйка-весна, прибирая избу, вымела сегодня за порог.

На берегу стоит полярная берёзка, узловато скрученная бурями. Северьяныч давно её приметил. И кажется ему: берёзка та была когда-то ненаглядной беззаботной девочкой в белом ситцевом платье, но суровая судьба, как злая мачеха, с годами затюкала её, превратила в седоволосую согбенную старуху с кривою клюкой.

– Жизнь, она такая, никого не пощадит! – вслух размыш-

ляет охотник, оглядывая берёзу. — Ты уж, доченька, терпи. Теперь весна, теперь-то что не жить.

Тяжёлою рукой, способной железо умять, он гладит, голубит восковое, упругое тело с малиновым оттенком прохладной кожи, с витиеватыми багровыми прожилками. И чудится ему, что дерево не соком весенним преисполнено — всамделишной кровью. Да так оно и есть, всё тут живое — в этом подлунном мире, всё надо жалеть.

## 6

Дед-Борей — так прозвали охотника Храбореева. Странный был Дед-Борей. Ходили упорные слухи, будто кто-то ему помогает. Кто? Может, дух святой, а может быть, нечистый? Непонятно. Только что бы ни случилось в тундре, Дед-Борей всегда «сухой» из воды выходил. Летом, бывало, разыграется на озере шторм, лодка кверху брюхом опрокинется, или зимою он идёт на лыжах и под лёд провалится... Любой другой не выплыл бы, а Дед-Борей — точно кто невидимую руку ему протягивал. Или взять, например, «слепую» стрельбу, которая была одновременно игрой и практикой для охотников, иногда собиравшихся вместе. Среди тундровиков — до того, как в тундре появился Дед-Борей — был один серьёзный «снайпер» или «ворошиловский стрелок», так его охотники звали меж собой.

— Всякий себя уважающий тундровик, — говорил, бывало,

этот снайпер, – никогда не стрельнет по сидячке. Мы стреляем только влёт. Понимаешь, дед?

– Я не дед! – Храбореев хмурился. – И я тоже не стреляю по сидячке. Ну и что дальше?

– А вот смотри... – Снайпер поднимал с земли сухую шишку или монету из кармана доставал. – Белке в глаз и дурак попадёт, когда белка сидит на дереве. А ты попробуй влёт вот эту шишку поразить или вот этот пятак...

– Ну, давай. – Храбореев шапку на висок заламывал. – Кидай.

– Ох ты, прыткий какой! – В глазах у «снайпера» полыхало предчувствие праздника. – Ты сначала отвернись. Я подброшу и дам команду...

Верхней губою пытаясь дотянуться до носа – верный признак волнения – Дед-Борей не спеша передёргивал затвор карабина. Внимательно смотрел на небеса, словно бы запоминая очертания окрестных облаков. Лицо его – бородатое, смуглое, словно бы горелое – становилось отрешённым, даже каким-то демоническим. Он отворачивался и так стоял – широко расставив ноги и сутулясь как будто под грузом гранита. В запасе у него были какие-то две-три секунды, чтобы с разворота увидеть в небесах над головой летящую тёмную точку... Сначала он два раза промахнулся, а потом как пошёл чесать напропалую – ни шишек под ногами не осталось, ни каких монет в карманах у мужиков.

– Ограбил! – восхищённо ревели мужики. – До копейки



ограбил!

Слава «снайпера» в тундре с той поры потускнела. А вслед за этим «снайпером» потускнели в тундре и многие другие видные фигуры, которые прежде считались фигурами важными, авторитетными. Теперь на первом месте был Дед-Борей. Угадать погоду, узнать, какая будет миграция зверя в грядущую зиму, найти наилучшее «приворотное зелье» для песка, для волка – в этом равных не было ему.

– Ты научил бы нас, дед! – иногда усмешливо, а иногда серьёзно говорили промысловики. – Поделится бы опытом, дед!

– Да какой я вам дед? – Он сердился, глазами сверкал, словно молниями, спрятанными в тучах-бровях. – На себя посмотрите! Сами уже мохом обросли, а на других наговаривают.

И всё же был он «дед», пускай не по годам, зато по смекалке, по житейскому опыту и знанию тайги и тундры. «Повадка и походка» всякого зверья была ему известно так, как никому другому.

– Он в тундре скоко? Без году неделя! А мы? – судачили рыбаки и охотники. – Я тут, считай, родился. А ты – крестился. И то ведь мы не знаем всего того, что Дед-Борей уже откуда-то узнал, разведал.

Может, здесь была и доля зависти, а может – доля правды проговаривалась.

Промысловики, бывало, неделями кисли без дела, бражку

потягивали, хлестались в карты или просто дурью маялись, плевали в потолок – не шёл песец в ловушки и капканы. Случается такое. Не идёт – и баста. Полный песец, как говорится. У всех в округе пусто, а у Деда-Борея хоть маленько, да есть. Огребёт. Да ещё и усмехается при этом: так, мол, ерунда попалась, можно было бы и не ходить, ноги зря не колотить. Или, случалось, рыба не клевала – выходной брала. Ни у кого – ни хвоста, ни чешуйки. А этот окаянный Дед-Борей, глядишь, опять обрыбился, да так, что лодка у него огрузла, вот-вот губастыми краями хлебнёт волну.

Пробовали даже проследить за ним. Ходили потаёнными тропами, смотрели в бинокли. Пытались ловить и охотиться в тех же самых местах – бесполезно. Вот что это такое? Как это назвать? Везение? Нет, что-то здесь другое, братцы. Когда-то про таких людей в Сибири говорили – «слово» знает. Может быть, и знает, не без этого. Только все же здесь – в случае с Дедом-Бореем – было что-то другое, гораздо глубже и потаеннее суеверного «слова». Что? Э, дорогой товарищ, кабы знать! Народ говорил про какого-то Царька-Северка. Интересно было бы узнать, что за царёк такой? Да и правда ли это, ребята? Мало ли сказок гуляет в устах озорного русского народа...

# Царёк-Северок

## 1

Далёкие горы казались призрачными. Синевато-светлые с дымчатым подбоем горы сказочно реяли, подрагивая между небом и землей. Как будто великий Творец, сочинивший эту красоту, сомневался ещё: в небесах её оставить или водрузить на северную землю?

Глаза у парня вспыхивали радостью, когда он посматривал то на далёкие горы, то на вертолёт, оранжево мерцающий поблизости – на площадке, огороженной редким частоколом. Площадка была небольшая, с белым посадочным кругом, давно уже нарисованным и полустёршимся на бетоне.

В полосатую штанину, висящую на длинном шесте аэропорта, ветер ногу неожиданно просунул. Штанина заболталась, туго натягиваясь. Парень посмотрел по сторонам. Поёжился. Погода на глазах преображалась – не в лучшую сторону. Свинцово-серые, тугие облака из-за гор выкручивались. Тени кругом аэропорта становились широкими и плотными, а свет между ними напротив – жидковатый, узенький. Симпатично одетая полярная птаха пуночка – снежный подорожник – живым цветком затрепетала неподалёку от парня. Крылья этого цветка, будто лепестки, задрожали под вет-

ром, раскрылись – и парень с сожалением вздохнул, глазами провожая снежный подорожник, которым он невольно залюбовался.

Вершины далёких гор, кое-где покрытые остатками снега, стали скрываться под напором облаков.

«Как бы ещё полёт не отложили! – заволновался молодой человек. – Чего канительятся?»

Он ждал пилотов. Сначала он топтался около дорожки, ведущей на лётное поле, а затем вернулся к деревянному крыльцу аэропорта. Он уже хотел зайти вовнутрь и уточнить по поводу полёта, но в это время двери вдруг открылись – едва не ударили в лоб.

Вышел один из пилотов – сухощавый, с тёмными насмешливыми глазами – Эдуард Архангельский, по прозвищу Архангел. Постояв на крыльце, посмотревши на горы в дымке, Архангел спросил, закуривая:

– Ты, что ли, с нами полетишь?

– Я не знаю, с вами, или нет... – Парень головою покрутил, поглядывая по сторонам. – Мне сказали, что Мастаков...

– Значит, с нами. Командировочный? – Лётчик снисходительно посмотрел на парня. – Первый раз на Крайнем?... Как зовут?

– Тиморей.

– Что за имя такое? Заморское.

– Обыкновенное. Тимофей. Просто в документах одна буква оказалась «пьяная», вот и получилось...

– Ясненько. – Пилот лениво выпустил длинную дымную струю. – Ты, говорят, художник?

Тиморей смущенно улыбнулся. Посмотрел на пальцы, кое-где испачканные красками.

– Художник – это громко сказано.

Архангельский, вздыхая, неожиданно спросил:

– Ты в церковь-то ходил?

– Я? – Парень растерялся. – Нет. А зачем?

Отстрелив окуроч от себя, «Архангел» посмотрел по сторонам, чуть наклоняясь к Тиморею.

– Этот новый командир, между нами, девочками, говоря... – Он оглянулся на дверь. – Ладно. Кажется, идут. Слышь, парень, ты молчи! Я ничего тебе не говорил. Не продавай меня.

Лёгкое чувство тревоги вселилось в душу Тиморея. Он хотел что-то спросить у «Архангела», но тут перед ним появился молодцеватый, бравый командир вертолёта. Командир был серьёзен, чуточку хмур, однако в глубине его отважных глаз – будто бы смешинка затерялась.

Они прошли к оранжевой вертушке, которая только изда- лека могла показаться оранжевой. Много раз подкрашенная за годы эксплуатации на полярных широтах, вертушка была вся в заплатках: тут гранатовый цвет, там лососевый, а здесь кожа апельсина...

– Извините... Кха-кха... – как бы между прочим поинтересовался парень, прежде чем забираться в кабину. – А вы

давно уже летаете на Севере?

– Да столько же, сколько на Юге, – спокойно сказал командир. – Это мой первый полёт. Проходите. Или вас что-то смущает?

Кисточки бровей у парня дрогнули.

– Нет, почему? Всё нормально. – Переступая через мешки, через ящики, Тиморей забрался в полутёмное прохладное чрево вертолета. «Вот это повезло! – Он покосился на командира. – Седой, а всё ещё молодой, в новичках».

Командир отвернулся, делая вид, что поправляет фуражку, и парень не успел заметить озорные огоньки в глазах Мастакова.

«Интересно, – подумал парень, – такое ощущение, как будто мы знакомы. Но где же, где я мог видеть его? Откуда мне знакомо это колоритное лицо? Натюрморда, как сказал один великий живописец...»

В кабине защёлкали какие-то кнопочки, тумблеры. Винты засвистели, раскручиваясь. Чахлая полярная трава с небольшим вкраплением чахленьких цветов затрепетала по краям взлётной площадки. Пыль и даже каменная крошка – взметнулись, покатались кувырком. Корпус вертолета угрожающе задрожал и покачнулся – многотонная махина оторвалась от земли. И вдруг...

Мастаков, подтверждая, что он «новичок», неуклюже поднял вертолёт и повёл, повёл, как тот водитель, у которого сзади машины написано: «Осторожно! Путаю педали!» По-

топтавшись по воздуху, приседая и взмывая вверх, то и дело «путая педали», Ми-8 прошёл над рекой – вода покрылась крупными морщинами. На берегу вертушка наклонилась – мордой чуть не сунулась в верхушки ближайших лиственных.

Тиморею стало не по себе. Молодой сухощавый «Архангел» вышел из кабины. Тревожно посмотрел на пассажира.

– Не тошнит?

– Нормально. А чего он так летит? Сикось-накось...

Эдуард поплотнее закрыл за собою дверцу кабины.

– Козёл потому что! – сказал раздраженно. – Вместо него я должен был... У меня есть опыт работы в условиях Крайнего Севера. А этот... Видишь?! Кто так летает? Так и разбиться недолго... Тьфу, тьфу!

У Тиморея под ложечкой противно засосало.

– А как же это... Как ему доверили?

– Волосатая лапа.

– Чего?

– У него там свои люди! – Архангельский глазами показал наверх.

– Странно.

– А что тут странного, Тимоха? Или забыл, где живёшь? Всё по-русски. На авось.

– Что вы хотите сказать?

– Авось долетим...

– Ну, спасибо.

Сухощавый Эдик прикусил губу, чтобы улыбка не расплзалась.

– Парашют надень на всякий случай.

Художник изумленно вскинул кисточки бровей.

– Парашют? А где он?

– Вон, под лавкой... Ты с парашютом когда-нибудь прыгал?

– Не приходилось.

– Прыгнешь, – уверенно «утешил» Архангельский. – Вот кольцо. Высота небольшая, поэтому надо дергать сразу. Да ты не волнуйся. Я думаю, всё обойдется. Это так – на всякий пожарный...

Сделав скорбное лицо, Архангельский ушёл в кабину, умышленно оставляя дверцу незакрытой. Пилоты несколько минут сидели в креслах и «подышали» со смеху, украдкой наблюдая, как Тиморей запрягается в лямки рюкзака, набитого крупую и мукой.

Потом вертолёт неожиданно перестало бросать. Это, видно, потому, что Мастаков доверил штурвал сухощавому Эдику, имеющему опыт работы в условиях Севера. Так подумал Тиморей, когда увидел командира, выходящего из кабины.

– О! – Абросим Алексеевич изобразил удивление. – Ты зачем парашют нацепил? Кто тебя напугал?

– Никто. – Тиморею не хотелось продавать «Архангела». – Просто, гляжу, валяется под лавкой. Дай, думаю, примерю.



– Ну и как? Не жмёт? – поинтересовался Мастаков, покусывая нижнюю пухлую губу.

– Ничего, терпимо. Тяжеловатый, правда...

– Так сними, чего ты маешься?

– Да нет, всё путём... – Тиморей тоскливо посмотрел в иллюминатор. – Долго нам ещё пилить?

– Скоро. Если, конечно, с курса не собьёмся.

– А что?.. – Художник дёрнул носом. – Бывали случаи?

– В тумане, в снежных зарядах всякое бывает. Этот, который сейчас за штурвалом... Он из себя изображает опытного ковбоя... – Абросим Алексеевич затылком показал на кабину. – Этот ковбой в прошлом году так сбился с курса – приземлился в районе Канады. В нейтральных водах...

– Как «в нейтральных водах»?

– Очень просто. На льдину. Дело чуть не кончилось международным скандалом.

– Ого! Вы тут весело живёте, я смотрю!

– Да что ты! Обхохочешься! – Мастаков, уже не пряча смеющихся глаз, поинтересовался: – Из деревни?

– Из деревни.

– Из глубинки?

– Из глубинки. А что?

Командир фуражку сдвинул на затылок.

– Хорошо сохранился.

– В каком это смысле?

– В смысле наивности.

Как это ни обидно, а всё же факт: наивность хороша до определённых пределов, а дальше – увы! – начинается глупость. Не сразу до художника дошло, что его разыгрывают как мальчишку. Напрягаясь, он летел как курва с котелком – с потёртым, заштопанным рюкзаком-парашютом. Летел, потел, пыхтел и другие звуки издавал – звуки испуга и изумления, понемногу перерастающего в восторг.

Редкий человек не восторгался этим гениальным лётчиком.

Абросим Алексеевич Мастаков был мастер своего дела. Мастак. Не зря его прозвали воздушным акробатом. Но Тиморей пока ещё не знал и потому кольцо «парашюта» готовился рвануть, когда Ми-8 – уже в который раз – неожиданно резко заваливался набок, словно теряя управление и грозя опрокинуться в пучину, вскипающую белыми стружками пены. Это был нормальный почерк Мастакова, азартного рыбака. В тундре он частенько так летал – «набекрень». Зависал над реками, высматривал тайменя на перекатах, в омутах, в ямах с обратным течением и даже под водопадами – в излюбленных местах кормёжки. Обнаружив тайменя, Абросим Алексеевич отдавал штурвал помощнику, а сам хватал рыбацкое орудие. Вертушка зависала над рекой – и начиналось цирковое представление. Командир не успевал блесну закидывать. Таймень хватал рывком, как бешеный. Садился на мёртвый зацеп и превращался в «летающую рыбу». Яростно сопротивляясь, таймень взмывал на леске. Калёными же-

стянками жабры топорщил, одуревая от воздуха. Толстым брусковатым телом кренделя выделявал, пытаясь сорваться с крючьев. Попадая в тёмную трясучую кабину, таймень ударялся крупной башкой о грязный пол и ошарашено паялился на хохочущего рыбака, с кровью, с мясом впопыхах вырывающего из рыбьей пасти самопальную блесну, вооруженную тройником из кованых крючьев. Скоро в салоне вертолёта на полу трепыхалось несколько упитанных «зверей». Как в магазин сходили. Бросая спиннинг, вытирая руки, Мастаков садился за штурвал. Подмигивал помощнику и дальше гнал вертушку.

Довольный рыбалкой с воздуха, Абросим Алексеевич пригласил новичка в кабину.

– А мы ведь знакомы! – сказал Мастаков. – Забыл? Мы с тобою вместе ссылку в Туруханске отбывали. Ха-ха...

– Ссылку? – Лицо Тиморея вдруг просияло. – А я сижу и думаю, ну, где я видел вас? А там, в салоне-то, немного свету, не разглядел. А вот теперь – узнаю! Да, да, мы с вами встречались во время грозы в Туруханске. Я даже хотел портрет ваш написать. Натюрморду, как сказал один великий...

– Верно, верно! – Мастаков засмеялся. – Мир тесен! Ну, как ты? Где живешь?

– Всё там же. На Валдае.

– Чем занимаешься?

– Работаю... валдайским колокольчиком.

– Это как понять?

– А так, болтаюсь под дугой... – Тиморе́й усмехнулся. – Это называется – быть на вольных хлебах.

– Да? Ты что-то не сильно поправился на этих хлебах.

– Ничего, поправлюсь. Хочу в Ленинград перебраться. Там можно будет выставку устроить.

– Правильно мыслишь. Надо на большую дорогу выходить.

– На большую дорогу с топором выходят. – Парень засмеялся. – А у меня только кисточка да карандаш.

В ту далёкую пору Тиморе́й Дорогин только-только начал зарабатывать на жизнь своим робким художеством, с хлеба на квас перебивался. Приходилось малевать портреты передовиков социалистического соревнования – «натюрморды», как шутил Дорогин. А для души у него была работа над «Красной книгой», которую правильнее было бы назвать «красной фигой»: смотришь в эту книгу, а видишь фигу – исчезающие растения, редких животных и зверьё. Красную книгу пишет всё человечество, бездарно пишет, не переставая удивлять тупым упорством в деле «покорения» природы.

## 2

Алмазом чистейшей воды заповедное озеро покоилось в горной расселине – в гигантских каменных ладонях. Два берега, далёких друг от друга берега – южный и северный – выглядели, как сын и пасынок в семье у матери-природы. На

южном берегу – тайга темнела. Верней, остатки тех богатейших, которые с боями и потерями добрались до этой суровой широты. Узловатыми лапами упираясь в каменистую землю, возвышались матёрые мудрые кедровые, немилосердно мятые ветрами, битые градом, колотые молнией. Редко, но картинно стояли пихты – бородатые как лешаки. Чёрные дыры, ведущие в ельник, напоминали чумазое чрево огромной печи, где под осень лежат калачи – белые крепкие грузди, на шляпе своей сохранившие бриллиантовую брошечку росы. В небесах над южным побережьем можно видеть редкого сокола – белого кречета. А верхний берег, северный, – своеобразный приют печали. Там, как пьяный мужичонка, покачиваясь, «за воздух» держался худосочный листвяк. Полярные берёзки закручены узлами. Чахоточные кустики с листом в копейку, побитую зелёной плесенью. Голые утёсы, сложенные из плитняка, прошиты камнеломкой. На карнизах утёсов короткою летней порой шустрили и шумели птичьи базары, где «торговали» многочисленные чайки и прожорливые нагловатые бургомистры; так здесь именуют полярную чайку, самую крупную из этих птиц.

Заслоняя солнце по-над озером, вертушка развернулась стеклянным лбом на ветер и плавно опустилась на берег Тайгаыра – на маленькую ровную подошву.

Мастаков, выходя, осмотрелся. Громко, озабоченно спросил у Архангельского:

– А где он?

– Был на месте.

– Да где на месте-то? Не видно.

Эдуард развел руками.

– Я не трогал, не знаю...

– А где же он тогда?

Тиморей в недоумении смотрел на них.

– Вы что-то потеряли?

Абросим Алексеевич нахмурился.

– Тимка! Не в службу, а в дружбу, сходи, посмотри. Вон за тем пригорком должен быть круг... полярный... Если никто не забрал. Людишки-то разные бродят.

Волны шумели под берегом, и Тиморей толком не расслышал, что от него хотят. Поднявшись на каменистый пригорок, он увидел полярные маки, длинноногими цыплятами желтевшие среди лохмотьев снега. Опустившись на колено, художник полюбовался двумя-тремя «цыплятами» – крылья бойко трепетали на ветру.

– Нашел?! – позвали парня. – Ты где?

Выходя из-за пригорка, Тиморей пожал плечами.

– Там цветы... – Он отряхнул колено. – А что вы ищете?

Переглянувшись, вертолетчики за животы схватились.

– Да мы-то ничего. А ты? Нашел?..

– А кого я тут должен найти?

– Полярный круг! – Мастаков ногой потопал по земле. – Он где-то здесь проходит! На широте шестьдесят шестого градуса.

– Правда? Во, как хорошо!

– Хорошо-то хорошо, – со вздохом согласился вертолётчик. – Одно только плохо: пощупать нельзя.

– Так он же не баба... – Архангельский опять расхохотался. – Чего его щупать?

Художник усмехнулся.

– А, по-моему, вы заливаете!

– А мы всегда перед полётом заливаем, – подхватил Мастаков. – Полные баки причём. А как иначе? С пустыми далеко не улетишь!

«Острый ум, – отметил Тиморей. – Вот хохмачи!»

За спинами у них раздался приглушённый собачий лай – эхо покатилося между деревьями.

Со стороны избушки, стоящей на берегу, чуть припадая на левую ногу, шагал промысловик. Следом, шныряя носом по кустам, строчила северная лайка, белая, с чёрной меткой на груди, в чёрных носочках «на босу ногу».

– Здорово, Дед-Борей! – издалека поприветствовал командир. – Гостя привезли тебе. Художник. Будет портрет малевать.

Охотник отмахнулся, подходя:

– Кому он нужен, мой потрет?

– Да не твой! Размечтался!

– А чей же?

– Собаки твоей. Ты-то здесь причём? Собака пашет, а ты только следом идёшь, урожай собираешь.

– Это верно, – с улыбкой согласился Дед-Борей. – Собачонка мировая!

В первую минуту, когда художник стал рассматривать охотника – странное волнение вдруг опалило душу. И опять – как недавно было при встрече с Мастаковым – парень подумал, что он где-то уже видел этого Деда-Борея. Только это уже было чересчур. «И того я видел, и этого встречал! Не многовато ли?» – насмешливо подумал Тимофей.

Странное это волнение через минуту-другую прошло, и осталось лишь недоумение: в чём тут дело? что такое? Но и это чувство вскоре улетучилось, потому что слишком много было новизны вокруг да рядом – глаза у художника рассыпались горохом... Правда, тогда он художником не был. По его же собственным словами – он был тогда маляр, который не смог разглядеть, что перед ним находится не простой охотник Дед-Борей.

Это был его родной отец, который ни сном, ни духом не знал о сыне.

Открытие это – подобное грому – произойдёт позднее. А пока – вертолёт ушёл за облака.

### 3

Вертушка затихла за перевалом, заваленным желтовато-белыми и пепельными облаками. В тишине стал отчётли-



во слышен голос ручья – бежал неподалёку, разговаривал с камнями, густо насыпанными по кривому руслу, шептался о чём-то с полярными ивами, свесившими косы в воду зубо-ломной стылости.

Пилоты оставили поллитровку спиртяги – отблагодарили Деда-Борея за рыбу. Он постоял возле избышки, посмотрел на «муху», в которую превратилась вертушка над перевалом, потом на бутылку, мерцающую на деревянном столе, вкопанном в землю рядом с зимовьём.

– Ну, что? – сказал непрошеному гостю. – Отдыхай, рыбаць. Захочешь пострелять, возьми ружьишко. Старенькое, правда, но ничего...

Запоздало протянувши руку, Тиморей представился.

– А вас, простите, как?

– Меня Северьяныч зовут. – Охотник нахмурился. – А то взяли моду: «Дед-Борей», Дед-Борей»... Я семерых молодых загоняю по тайге да по тундре!

Кликнув собаку, он ушёл по тропке, выющейся в сторону тёмной чащобы.

Щедро намазавшись мазью от гнуса, валдайский парень двинулся вдоль берега речки, ещё заснеженного, заваленного старыми трухлявыми стволами. Там и тут на пути – среди снежных проплешин – попадались жёлтые россыпи полярных маков, голубели незабудки, цветки синюхи поражали поднебесной синевой. Большие ромашки – почти что в ладонь величиной – казались декоративными, приготовлен-

ными для какой-то театральной сказки.

Чем выше поднимался он, тем плотнее и глуше становились деревья. И снег тут был плотнее. И всё же дух весны торжествовал: на открытых южных склонах сладковато пахло прелью. Скалы сочились бурными ручьями, стрекочущими в расселинах. Медведь-река на порогах и перекатах ревели раненым зверем, с боку на бок валяющим пудовые камни.

Потихоньку, полегоньку, отдыхая там и тут, любуясь колоритными картинками, Тиморей забрался довольно высоко. Зимовье внизу – чуть больше спичечного коробка. И здесь, на продувной верхотуре, где лежали рваные снега, художник неожиданно увидел «живую звёздочку» – довольно редкий, исчезающий цветок. Это было как раз то, что нужно для «Красной книги». Повезло? Может быть. Но Тиморея что-то смутило. Он только что смотрел на голый камень – не видел «живую звёздочку». И вот, пожалуйста. Как по заказу. Однако тут же вспомнились знакомые корректоры в книжном издательстве, где готовилась «Красная книга». По двадцать раз читаешь один и тот же текст, признавались корректоры, и не видишь «блоху», закравшуюся между буквами. «Вот так и у меня с этой живою звёздочкой, – решил Тиморей. – Смотрел – не видел. А она, голубушка, цветёт, сияет...»

Обрадовавшись, Дорогин расстегнул планшетку, достал кусок попоны – специально возил. Пристроивши попону на холодном камне, он уселся поудобней. «Попона, – с улыбкой подумал, – не иначе, как от слова попа!»

Забывая обо всём на свете – черта характера людей талантливых и одержимых – Тиморей долго, скрупулёзно делал этюды, наброски в походный альбом.

Округа незаметно свечерела, как только может вечереть в полярный день – свету поубавилось и тени загустели, как будто разведённые в смоле и дёгте. Облака, до сих пор куда-то лениво и стройно бредущие, задумчиво остановились на вершинах гор и в междугорьях. Примолкли птицы. Рыба не плескалась. Морщинистый широкий лоб заповедного озера благодушно разгладился. Даже река с характером медведя, в камнях весь день орущая с пеной на губах, как-то странно поутихла, точно стала укладываться в тёмную берлогу берегов. Так всегда бывает вечерами; природа затихает перед сном, будто молится на золотые купола закатных облаков. И в человеке что-то затихает – во глубине души; вечером он уже не так отважен и не так беспечен, нежели утром.

И в этой тишине, в огромной отрешённости от мира суеты, Тиморей вдруг вспомнил то странное волнение, которое он пережил в первую минуту встречи с Дедом-Бореєм. Что это за волнение? И где они раньше встречались?

Он хотел разобраться в себе, в тонких своих ощущениях, но не смог, а верней не успел – другая странность душу уколола леденисто-огненной иглой.

Собираясь покинуть насиженное место, художник вздрогнул и ощутил под сердцем холодок. «Стоп!» Широко раскрытыми глазами он пошарил по камням и уставился туда,

где только что сияла «живая звёздочка».

Редкий цветок исчез.

Растерянно глядя по сторонам, парень голову поднял. В дымчато-лиловом просторном небе – тишина и пустота. Только одна серебряная звёздочка, похожая на цветок, трепетно и нежно зацветала в сумрачном зените, как будто лукаво помигивая.

Поначалу Тиморей улыбнулся, но тут же насупился. Необъяснимая тревога вселилась в душу. И возникло ощущение, что он здесь не один. Кто-то большой, незримый наблюдает за человеком. Кто это? Где прячется?.. Он передёрнул плечами и руку засунул за пазуху – страх под сердцем холодил, страх кололся хвойными иголками. Страх этот усилился, когда художник стал торопиться и оказался в тёмном тупике – несколько поваленных деревьев образовали нечто вроде шалаша, из которого торчали большие чертячьи рога – ветки и сучья, до костяной белизны отполированные снегами, ветрами и ливнями. А потом, когда он шёл по валунам, торчащим из-под снега, и соскальзывал с них, едва не выворачивая ноги, ему стало казаться вообще, бог знает, что... Он как будто бы сдирал хвойный скальп с округлых валунов, похожих на человеческие черепа – в глазницах были ягоды-зрачки, мерцавшие слезой-росой. Кошмар!..

Едва не свалившись с обрыва, Дорогин спустился к избушке и успокоился только тогда, когда ароматно и вкусно потянуло древесным дымком из трубы.

Зимовьё на подходе смотрелось – не нарисовать. В том смысле, что никакой возможности у художника никогда не бывало и вовеки не будет, чтобы вместе с красками зацепить на кисточку маленько тишины, маленько ароматов, переплеска воды, перестука восторженной крови в висках.

«Это нужно запомнить! – про себя отметил Тиморей. – И собака! Посмотри, как она, собака, барственно лежит! А глаза-то у неё какие...»

Умная и совершенно незлобивая собака с чувством исполненного долга умиротворенно лежала у ног Северьяныча, изредка зевала и зубами клала – комара ловила.

– Ну, как, Тимоня? Прогулялся? – утомлённо спросил охотник. – Городскую пыль с ушей стряхнул?

– Стряхнул! Тут благодать!

– Ну, присаживайся. Отдыхай.

Храбореев курил. А курил он оригинально. Два передних мелких зуба выпали давно, и дырка эта была приспособлена под гнездо для папиросы – как будто в костяной мундштук вставлял. Блаженно покуривая, Северьяныч взялся ощипывать куропатку.

– Это что? Подстрелили? – глуповато удивился Тиморей.

– Нет, сама прилетела, – серьёзно ответил охотник и так же серьёзно спросил: – Сколько в этой куропатке перьев? А? Художник изумленно вскинул кисточки бровей.

– Сколько штук? Не знаю.

– Вот то-то и оно! – Охотник улыбнулся, преображаясь

лицом, как ребенок. — Я тоже не знаю. А вот у орла, говорят, семь тысяч перьев. И весят они полкилограмма.

— Да ну! А кто считал?

— А кому делать не хрен, — простодушно объяснил охотник, сворачивая «голову» поллитровке со спиртом. — Ну, что? За знакомство?

«А мы уже как будто бы знакомы!» — чуть не сказал Тиморей, но вместо этого махнул рукой.

— Нет, я не буду...

— Как? Совсем? — разочаровался Дед-Борей. — А что такое? Язва? Или клизма?

— Хуже. — Тиморей улыбнулся. — У меня после выпивки резкость начинает слабеть. Понимаете? А мне ещё надо работать.

— Так и я тут... — Северьяныч развёл руками, — не на курорте, мать его.

— Хорошо, давайте граммульку.

— Уговорил. — Охотник усмехнулся, выставляя закуску на стол и нахваливая мясо белой куропатки. — Ежли самку подстрелить, так вообще полезное мяско. Деликатес.

Закусывая жгучую «граммульку», художник нахмурился, ощущая несколько неискреннюю жалость. «Птаха летала, летала и в чашку попала! — подумал он. — Хотя, конечно, вкусная чертовка, спору нет!»

Антон Северьяныч давно уже раздружился с водкой и вином, только губы мочил иногда. Но сегодня и этого было до-

статочно – много вёрст отмахал, притомился. Глаза его, отмякшие от спирта, ненадолго помолодели, плечи расправились. Ощущая за собою крылья, он орлом посмотрел на вечерние горы со скирдами вечных снегов, на синее, прохладное небо, на притихшее, ко сну отходящее озеро.

– Редкий цветок увидел, говоришь?

– Да! – Парень оживился и, посмотрев по сторонам, почему-то шепотом произнёс название цветка. – Представляете? Я не ожидал. Он похож на звёздочку белой дриады, но только лучше, гораздо лучше! Вернусь, картинку покажу, вот изумятся...

– Погоди, ещё не то увидишь, – тихо, но как-то многозначительно пообещал Дед-Борей.

– Ещё не то? А что?

– Ну, мало ли... Всё ведь зависит от человека. Как ты давеча сказал? Резкость пропадает после выпивки? – вспомнил Северьяныч. – После выпивки – это понятно. А ведь живут на белом свете люди совершенно трезвые, но глаза у них при этом – как в той пословице: глаза по ложке, не видят ни крошки.

– Это вы к чему?

– К тому, что каждый видит по своим глазам. Вот и ты увидишь, если зоркий. – Верхняя губа охотника по привычке потянулась к носу. – Ну, давай придавим, чтобы не прокисла.

Выпили остатки. Помолчали. Тиморей надеялся, что после спирта, раззадорившего душу, Дед-Борей возьмётся

охотничьи байки плести, припомнит какой-нибудь жуткий случай, какими изобилует жизнь любого отшельника. Но не тут-то было. Отвалившись от стола, Северьяныч беззастенчиво икнул, спичкою в зубах поковырялся и, покурив на свежем воздухе, молча отправился на боковую.

«Проза жизни! А что тут мочалку жевать? Завтра ему снова колготиться по горам и долам!» – Дорогин вздохнул, с непонятной улыбкой и нежностью глядя на храпящего охотника и не давая себе отчёта в том, что с такой улыбкой и такою нежностью он вообще-то редко смотрит на людей. Хотя чего тут удивляться? Спирт ударил в голову. А точнее – в сердце. Ударил и высек золотую искру необъяснимого чувства, которое было сродни сыновнему чувству горячей любви. Тот, кто вырос без отца, иногда страдает подобным чувством, особенно под действием огненного зелья.

## 4

Стоял полярный день – высокий, с белыми кудрями облаков; прозрачный, трепетный от воздуха, нагретого незакатным солнцем. На горной верхотуре снег сочился – лентами распускались ручьи, убегая по желобам ущелий. Острыми лучами, словно пилами, подтачивался лёд на скалах. Готовилась «к пуску» очередная лавина – оставалось дожидаться последней капли. И вот она капнула – переполнила чашу терпения. Свинцовая сырая туша стронулась, как паровоз, запых-



тела, выдыхая сизоватый пар. И потихоньку поехала с поднебесья, попёрла, набирая скорость, увлекая за собою камни – здоровенные, как вагоны. Паровозная лавина скособочилась, вильнула, слетая с серебряных рельсов, и гранитные вагоны, ударяясь друг о друга, вышибая искры, загрохотали, неуклюже ворочаясь с боку на бок. Кувырком устремляясь к подножью, камни крушили деревья, как спички. Трещали пихты, березы, лиственницы. Порскали напуганные птицы. Если под «колеса поезда» попадала зверушка – оставалось только красное пятно...

Очередная лавина с горного плеча сошла неподалёку – верстах в пяти. Сошла, можно сказать, на цыпочках. Но чуткий Дед-Борей услышал. С моложавой прытью, неожиданной для его возраста, он поднялся, выглянул в окошко и успел увидеть копну серебрящейся пыли, закулившуюся в далёком ущелье.

«И мы закурим!» – Дед-Борей оделся. Закашлялся от дыма и поспешил покинуть зимовье, чтобы не тревожить квартиранта. Однако было поздно: буханье курильщика, похожее на приглушенные ружейные хлопки, разбудило парня.

Тиморей спустился к озеру. Полный – шёлковый штиль – застелил всю озерную гладь. Отраженные горы опрокинуто лежали в глубине, жемчугами рассыпав заснеженную грядку. Золоченым округлым слитком солнце покоилось на середине. Лысуха или казарка – или кто там ещё? – какая-то птица, пролетевшая по-над озером, почудилась летучей рыбой,

прошмыгнувшей под водой.

В чистом, от тишины позванивавшем воздухе, пересыпалась прохладная морось, искрящимися радужными бусинами нанизываясь на хвоинки лиственниц, на иглы можжевельника, на ветки арктической ивы. Драгоценным вкраплением морось мерцала на щербатом мрачном валуне, по которому шаршился чёрный, будто лакированный, рогатый жук – ощупывал дорогу длинными усами. Неподалеку, в полукруглой заводи, туман бродил, серым гусиным пухом тербился, закрывал – точно срезал – горбушку ближайшего мыса. Облака, подрумяненные солнцем, лениво лезли в гору на противоположном берегу, цеплялись за деревья на перевале и останавливались – подремать. Верховой налетающий ветер – там, наверху, была своя погода – шумно шерстил по распадку кудрявоголовый кедрач. Растревоженные деревья гудели пчелиным ульем. Ветер постепенно креп, спускался к берегу. Лоснящаяся нежная лазурь, лоскутами пришитая к просторному шелковому штилю, кое-где уже помялась, порвалась и потемнела.

Художник, спросонья рассердившийся на охотника – не дал поспать – вскоре был уже исполнен благодарности: не дали царствие небесное проспать.

Напропалую шагая по кустам и кустарничкам голубики, черники, брусники – просто некуда было ступить – он побродил со спиннингом по берегу. Долго не клевало, а затем...

Рыба так рванула в глубине, точно поздоровалась за руку

с рыбаком – аж в плечевом суставе заломило.

– Вот это конь! – разволновался Тиморей, обеими руками хватаясь за спиннинг.

Через минуту Храбореев подошёл. Папироску вынул из дырки между зубов – как будто из мундштука.

– Не спеши. Чего ты, как при ловле блох?

Но парень был уже «невменяем». От усердия приоткрывая скособоченный рот и азартно сверкая глазами, он резко повёл, потянул на себя, в три погибели сгибая спиннинг. Леска со свистом разрезала воду – как бритвой. Над поверхностью озера просверкнуло будто бы литое серебро – крупная рыба на крючках повисла. Обжигая жабры жгучим воздухом, она вышла на поверхность только для того, чтоб разогнаться. Не думая сдаваться на милость победителю, рыба в сторону вильнула, бухнула сильным хвостом, погружаясь. Волны, намащенные солнцем, покатались крутыми калачами.

– Куда? Стоять! Колхозный жеребец! – Тиморей засуетился, дёргая спиннинг.

Рыба сильная была, тяжёлая – с ней только лаской можно договориться. А Тиморей – пошёл наудалую. Решил нахрапом взять, наскоком. Ну и сорвалась, конечно, рыба. Да так сорвалась, что рыбак, взмахнув руками, потерял опору и отлетел от берега. Падая, он затылком едва не шабаркнулся о камень, находившийся рядом. В глазах потемнело. Окрестные горы покачнули и плавно поплыли над озером, двоясь и

улетая в небеса.

– Вот это рыбина... Нельма? Или шельма? Или что это было? – Почесав ушиблѣнное место, он с восторгом посмотрел на круги, расходящиеся по воде, и сам не заметил, как переходит на «ты» в разговоре с охотником: – Ты видел, Северьяныч?

Охотник покривил губу.

– Я видел и поболе...

– Ну, да... – Парень усмехнулся. – Ты сейчас руками разведешь – метров на пять.

– Пять не пять, а метра два с половиной...

– Ого! – Тиморей хохотнул. – И глаз вот такой вот – как чайник, да?

Храбореев не ответил. Сидя на старом поваленном дереве, он «ушёл в себя», наблюдая за комаром. Опустившись на бурый кулак, цветом и твердостью напоминающий булыгу, комар потыкал жалцем между средним и указательным пальцами, перебрался на другое место, но и там иголка гнулась, не прокалывала задубелую кожу.

– Поклюй, поклюй, – пробормотал охотник.

Отряхнувшись, парень подошёл поближе.

– Северьяныч, а где ты поймал двухметровую? Здесь? На этом озере? Так, может быть, и я поймаю?

– Обязательно. – Храбореев поднялся, чтобы уйти, и парень успел заметить: в синевато-серых глазах Деда-Борея полыхнула странная шальная искра.

Оставшись один, Дорогин, нетерпеливо переходя с места на место, ожесточенно хлестал блесной по озеру, но без толку. Вскоре плечо заломило, и рука в суставе загорелась. «Дым вот-вот повалит из-под мышки!» Переходя с места на место, он добрался до истока Медвежьей реки. Здесь после таянья льда скопилась рыба мелочь, – «лапша» для тайменя. Тиморею надоело попусту махать руками и он уже собрался уходить, но решил ещё разок пнуть свои самодельные блёсны, оснащённые тройниками, сваренными из кованых крючьев. И вдруг... Тиморей никогда не забудет...

Вот это клюнуло, так клюнуло тогда! Да нет, какой там «клюнуло»? Рвануло так, как будто леску привязали к жеребёнку, а потом кнутом его перепоясали. «Жеребёнок» взвился на дыбы.

Городской яркий спиннинг, обжигая ладони, едва не выскользнул. И всё тело – с ног до головы – точно обварили кипятком. Тиморей даже присел от напряжения и голову в плечи втянул. Упущенная рыба научила его кое-чему. Дорогин теперь уже не суетился. Давая «жеребёнку» успокоиться, боясь порвать натянутую «вожжу», замирая сердцем и не моргая, художник несколько метров кое-как проколбасил по берегу. Скользил и спотыкался на влажных от росы окатышах. Машинально перепрыгивал через белёсые бревна сухого плавника, похожего на бивни мамонта. Губы от азарта пересохли, собрались в тугой узелок и подрагивали. Щетина – с утра не побрился – чертополохом вздыбилась на ще-

ках. И даже брови – ёжиком торчали. Цивилизованный человек сделался похожим на дикобраза. Вот он, древний азарт! Вот оно, мужское дело, заставляющее сутками страдать, голодать, мокнуть на реках и озерах – ради такой вот золотой минуты. Много отдашь за нее, за родимую! В висках горячо, заполошно шумела кровь, толчками отзываясь в руках, до побеления сжимающих спиннинг. «Жеребёнок», лягаясь, норовил ускакать подальше от берега. Тиморей не давал. Помаленьку заманивал в «стойло», в небольшую заводь, на краю которой валялся здоровенный иверень – желтоватый осколок лиственницы, пострадавшей от молнии или ураганного ветра. Осторожно потягивая на себя, Дорогин в колесо закруглял удилище, рискуя сломать. Леска дрожала – дробью по сторонам постреливали капли... С каждой секундой леска до звона выстунивалась, готовая лопнуть. Комарьё и мошкара, пользуясь моментом, облепили лоб и щёки, нахально лезли в уши, пыжами забивали ноздри. Лицо горело, как золой присыпали. Торопливо размазав живую крапиву по щекам и по лбу, он опять пошёл на поводу у рыбы – отпустил зазвеневшую леску. И тут же стал выбирать, стараясь не загрубить это нежное дело. Главное – не загрубить. Ты даже с девкой, с бабой можешь обращаться неделикатно – могут простить, могут остаться рядом. Но рыба – рыба, милый мой, такая подруга, что ускользнёт, если начнёшь грубиянить.

– Ага! – азартно шептал он сквозь зубы. – Уломал? Иди

сюда, иди, голуба!

Прозрачная вода под берегом вспухла бугром, замутилась коричневатой торфяною грязью, загустела от взбившейся тины. В первую секунду, когда он увидел рыбину, показалось, будто камень всплывает – серый лупоглазый литой валун, покрытый тёмными круглыми пятнышками и золотистыми пятаками, матово мерцал на солнце.

– Ё... ёкарный бабай! – В зобу дыхание сперло. – Вот это ни фига себе...

Никогда ещё такую рыбину не доводилось держать в руках. Но прежде чем держать, пришлось поелозить по берегу, повоевать, побороться с хвостатой чертовкой, отлитой из живого серебра. Широкий спинной плавник величиною с ладонь колот и царапал до крови. Остервенело вырываясь, рыбина хвостом хлестала по щекам, по ушам. Изгибаясь пружиной, отталкиваясь от земли, рыбища взвивалась в полный рост, падала и опять подымалась, мало-помалу «шагая» к воде. Не ожидая подобной прыти, рыбарь изумлённо развёл руками.

– Эй, зараза! – рявкнул. – Ты куда? Постой!

Ломая ногти, он впопыхах пошарил под башмаками, каменюку сграбастать попробовал, но окатыш оказался неподъёмным. И тогда он сгоряча подхватил «дубину», повернувшуюся под руку – оглушил проворную плутовку, опутанную порвавшейся леской. Хрустнула кость на мокрой голове и что-то вроде стона вдруг слышалось. Красави-

ца-рыба мгновенно обмякла. Последним, предсмертным дыханием она взъерошила жабры цвета спелого разбитого арбуза. Судорога стрелой пронзила буровато-коричневую спину с травянисто-зелёным отливом на черепке. Дёрнулся в конвульсиях и замер хвостовой плавник, горящий розоватым пламенем с широкой ярко-оранжевой каймой. Возгри, пугаясь, потекли из поврежденной распахнутой пасти, утыканной крупными и острыми зубами, крючkovато загнутыми вовнутрь. Бесцветные ледышки глаз бестолково распялились на небосвод. Хватая губительный воздух, рыбина пошевелила лепестками плавников на белом брюхе, собирая на них песчинки, пыль и старую хвою прибрежных лиственниц.

Опомнившись, парень отбросил «дубину» и ощутил неловкость и даже стыд. Справился, ничего не скажешь! И в то же время – облегчение почувствовал. Ноги дрожали, лицо горело от «пощечин» сильного хвоста, от комарья и мошек, всласть напившихся кровушки. Рукавом он сызнава размазал насекомых по лицу, пот смахнул со лба. Наклонившись за добычей, ощутил глубинный озёрный холодок. Поднять хотел, но рыбина выскальзывала. Тяжёлая была она. Бревно бревном.

И тогда он заорал, как беспомощный мальчик:

– Дед-Борей! Дедуля! Караул! Скорей...

Храбореев ступил на крыльцо.

– Ты чего, Тимоха?

– Гляди-ка! Дед, ох, помоги...



Северьяныч подошел, прихрамывая. Постоял, насмешливо рассматривая взъерошенного грязного рыбака с полусумасшедшими глазами; издалека сияли так, будто кто в глазницы лампочки ввернул. С ног до головы Тимоха обляпался чешуею, тиной, пылью. Запустивши пальцы под жаберные дуги, пыхтя и спотыкаясь, он волочил по земле нечто похожее на серебристо-пепельный березовый комель.

Дед-Борей покачал головой.

– А я уж думал, тонешь! Так заорал...

– Ага, чуть не пошёл ко дну! Этот жеребенок как рванул-ся... Хорошо, что пару крючьев сразу проглотил, а то улизнул бы! – взახлеб тараторил Дорогин, бросая «берёзовый комель» возле порога. – Кто это, дедуля? Что за зверь?

– Таймень.

– Царь, что ли, рыба?

– А ты разве не видишь?

– Где? Что?... О, Господи!.. – Парень попятился, прикрываясь руками. На какую-то долю секунды он ослеп от золотого блеска. Корона – царская, шикарная корона! – сверкнула на голове огромной волшебной рыбины. Сверкнула – и пропала. Парень пошарил по разбитой голове тайменя. Руки кровью испачкал. – Что это было? Корона? Ты видел?

Храбореев молча посмеивался в бороду. Потом сказал, напоминая о вчерашнем разговоре:

– Каждый видит по глазам. Кому чего дано.

– Дедуля... – возбуждённо продолжал рыбак, – а на сколь-

ко этот царь потянет, интересно?

– Три, четыре пудика...

– А не больше?

– Конечно. – Храбореев усмехнулся. – В городе ты можешь говорить, что центнер. Никак не меньше.

Тиморей заскочил в избушку. Собираясь в командировку на Север, он прихватил запасные поплавки, грузила, пропускные кольца, леску и другие мелочи, необходимые для рыбалки. Теперь он лихорадочно искал замену.

– Где?.. Скорей... – Он задышался от нетерпения. Возбужденные глаза сверкали блёснами.

– Рыба ждать не будет, – насмешливо сказал Северьяныч. – Некогда ей.

Схватив коробку с запасными крючьями, парень выскочил за порог и чуть не брякнулся, поскользнувшись на чешуе.

Тайменя у крылечка не было.

– Дед! – голос у парня стал плаксивым. – А где?.. Куда?.. В чём дело?..

– А ты не видишь?

– Нет.

– Ну, значит, не дано...

– Да что случилось-то? – Парень сорвался на крик. – Куда пропала рыба?

Никто не ответил ему. Тишина.

И вдруг он услышал за спиной какие-то скребущие звуки.

Точно кто-то шагал, запинаясь. Оглянувшись, парень присел от изумления – ноги подломились. Таймень уходил от него! Таймень, издалека похожий на пингвина, шагал пешком по берегу. Хвостовой раздвоенный плавник был для него – как ноги. Правда, ходок семенил, потому что размах плавника не широкий. Семенил и спотыкался на камнях. И чуть не падал. Грудные плавники, словно руки, были раскинуты крестом. Шатаясь, таймень хватался «руками» то за дерево, то за кустик... На берегу, возле воды, таймень остановился, посмотрел на рыбака. И что-то наподобие ухмылки сверкнуло на лице тайменя. Руками-плавниками он ловко раскрутил обрывок лески, опоясавший грудь, бросил под берег. Приподнимая помятую корону, горящую солнечным золотом и кровавым рубином, таймень чуть поклонился рыбаку и – прыгнул в воду. И так он сноровисто прыгнул – даже круги не пустил по воде. «Не может быть! – Тиморей подбежал к тому месту, где только что стоял таймень. – Это сон или бред?» Сохнувшие капли крови мерцали на берегу. Солнце играло в каплях, переливалось. Тиморей наклонился, поднял сухую каплю крови – и снова ноги стали подкашиваться. В руках оказался крохотный рубин, выпавший из царской короны.

– Ай! – плаксиво закричала в небе чайка. – Грабёж среди бела дня! Ай, ай!

И он проснулся – в заветерье под скалой. Подслеповато посмотрел по сторонам. Тело затерплю. Непокрытая голова, оглушённая солнцем, побаливала. Он встал, потянулся. «Как это я закимарил? Сам не пойму...»

Голубоватые горы покоились вдалеке над грандиозным Тайгаыром. Облака никуда не спешили. Деревья, опустившие «руки» в полном безветрии, казались декоративными.

Вспоминая приснившегося тайменя с короной, Тиморей усмехнулся. Глазами поискал свой спиннинг. Стал наматывать леску на барабан. А когда намотал – рассмеялся, запрокидывая голову. На крючке болталась такая здоровущая «акула», что здоровее некуда – меньше мизинца.

Дед-Борей сидел возле избушки, чинил какую-то деталь от лодочного мотора. В глазах горели яркие лукавинки.

– Не клюет? – Он закурил. – Не мудрено. Рыба чувствует непогоду. Затаилась. Да и потом... Я скажу, ты только не серчай. Спиннинг твой – баловство.

– Ну, как же! Баловство! – Тиморей почувствовал себя уязвлённым. – Да если хочешь знать, я сейчас поймал вот такую рыбину...

– И где же она?

– Отпустил. По доброте душевной.

Охотник усмехнулся.

– А может быть, сама ушла?

Парень оторопело уставился на него.

– Чего? Как ты сказал, Северьяныч?

– Я ничего не говорил. Молчу как рыба...

И опять в глазах Деда-Борея промелькнули диковинные огоньки. Опуская голову, он снова стал копаться в мазутной железяке.

– Постой! – Тимоха оглянулся на озеро. – Откуда ты знаешь, что рыба ушла от меня? Ты же здесь сидел?

– Ну и что? – Храбореев затянулся папиросой. – Я и отсюда вижу всё наскрозь.

– И что же ты увидел?

– Каждый видит по своим глазам.

– Вот заладил...

Докурив папиросу, Дед-Борей тряпкой протёр мазутную деталь от лодочного мотора. Прихрамывая, спустился к берегу, завел моторку и почесал куда-то в дальний угол Тайгаыра, где были потаённые глубокие ямы – нерестилища сига. Такие нерестилища – как на этом озере, так и на любом другом – неприкосновенные, можно сказать, священные места. Хотя чего греха таить: промысловики время от времени вылавливают пыжьяна – под таким псевдонимом известен тут северный сиг. Правда, аккуратно ловят, осмотрительно, будто бы воруют сами у себя. А Дед-Борей, тот вообще довольно редко позволял себе руку запустить в нерестилища, разве что по ярким календарным праздникам или по

каким-то другим исключительным случаем.

И вот теперь, когда угрюмый Дед-Борей на моторе против ветра полетел в сторону сиговых ям – теперь он даже сам себя не понимал. Зачем он туда полетел? Что случилось? Какой такой праздник у него вдруг наклонился? И чего это он вдруг засуетился перед этим непрощеным гостем? Или дела больше нет у Северьяныча? Или... или...

Вопросов было много. А вот ответов – ни одного. Да и не всегда ведь можно объяснить даже свой же собственный поступок. Да и зачем, кому он будет объяснять? Просто так душа выиграла в нём – захотелось парня рыбкой угостить.

## 6

Горы отодвинулись в туманную дымку. Вода вдали сливалась с берегами. Сумрак выползал косматым зверем из береговой чащобы. Воздух, согретый полярным солнцем, сдобренный духом полярной травы и цветов, стеклянной стеною стоял по-над берегом, опьяняя, дурманя...

Мотор у Северьяныча опять забарахлил – уже на подходе к избушке. И пришлось ему лопатить вёслами. И потому вернулся он так тихо – парень даже вздрогнул. Палец наколол на крючок. Поморщился, обсасывая ранку. Сплюнул кровь. Он возле печки колдовал над своими крючками. Нагревал их докрасна и остужал в банке с машинным маслом.

– Кончай ерундой заниматься! – с порога сказал Дед-Бо-

рей. – Пошли таскать пыжьяна!

– А это что за чёрт?

– Я сига наловил. Устроим пир.

– Это по какому же такому случаю?

– А так... душа разыграла...

Они перетаскали сига в морозильник – за избушкою вырытый погреб. Дед-Борей, засучив рукава, взялся кухарничать – солил и жарил сига. А парень всё никак не мог угомониться со своими городскими рыболовными снастями, которые смешили Северьяныча: с такими снастями хорошо только фотографироваться.

– Баловство – эти спиннинги, – заявил Храбореев и неожиданно «выкатил» целую лекцию. – Знаешь, где придумали эти несчастные спиннинги? Катушки эти для лески... Ещё в Египте.

– Где? – Тиморей улыбнулся. – В Египте?

– Ага. Только они, египтяне, использовали катушки не для рыбалки – для охоты с гарпуном на бегемота. А рыбу они таскали обыкновенной бамбуковой удочкой. Помню как сейчас. – Дед-Борей ухмыльнулся в бороду. – Леска была из нитки шёлка, крючок сгибали из острой иголки. Только вот вопрос. А как они делали жагру?

– Какую жагру?

– Жагру. Ты что, не знаешь? Зацепку-то.

– А-а! Ну, видно, этой коварной зацепки люди тогда ещё не знали.

– Наверно. Древние были не такие хитрые, и не такие сволочи, как мы, которые додумались рыбу глушить тротилом. – Дед-Борей вздохнул.

– А поплавок? – заинтересовался Тиморей. – Из чего они делали полавки?

– Вместо полавка они цепляли кусок сушёного спинного мозга от какого-нибудь крупного животного.

– А приманка? Что они готовили?

– Варёный рис. Тут, как видишь, Мотя, люди за много веков ничего нового не изобрели. Привада всё та же. Между прочим, в Египте всё бабье рыбалкой увлекалось, – продолжал Храбореев, поражая парня эрудицией. – Даже царица Клеопатра не брезговала.

– Да что ты говоришь? Видать, губа не дура...

– Ну, ещё бы! Помню, как сейчас, царица ловит рыбу, а этот хмырь... Папа римский... Тьфу! То есть, римский полководец Марк Антоний, хитрая бестия, нанял ныряльщика, чтобы её удивить. Он же втюрился в царицу, ага. Втюрился, как пацан. Нанял, значит, ныряльщика, сидит на берегу и только успевает рыбину за рыбиной таскать. Глядит на царицу и тихонько посмеивается: вот, мол, какой я молодец-удалец. И что, ты думаешь, та баба сделала? Бабы, они такие язвы... – Северьяныч поцарапал бороду. – Царица тоже наняла ныряльщика и велела прицепить на крючок полководца... Ха-ха... Солёную рыбу.

Когда Храбореев от души хохотал, смуглое, словно бы



«горелое» лицо его на несколько мгновений изумительно светлело, озарённое «внутренним солнцем». Так смеяться могут только хорошие люди.

Дорогин стал украдкой набрасывать портрет охотника – «натюрморду», как сказал один великий...

## 7

Тихий ясный вечер наклонился над озером – словно отлитый из голубоватого хрусталя, в сердцевине которого красной божьей коровкой на одном месте стояло полярное солнце. В тишине было слышно, как дружно и густо – серыми волнами – перетекает по воздуху гнусающий гнус. И там и тут по озеру взмётывалась рыба – резво что-то склёвывала с поверхности. И птицы по-над озером кричали громко, летали низко. И на тропе, ведущей к зимовью, цветы одуванчика потихоньку закрывали свои ставни.

Мимоходом про себя отмечая всё это, Дед-Борей уже не верил звонкой тишине и показушной благодати, готовой сверкать демоническим глазом разъярившихся молний.

От усталости глубже обычного припадая на левую ногу, Северьяныч из тайги вернулся раньше, чем всегда.

Наблюдая за Тимореем, собирающим вещички, охотник сказал:

– Можешь не торопиться. Вертолёт не будет.

– Почему? – удивился Тиморей. – Они же обещали...

– Обещанного три года ждут. – Охотник включил радиостанцию; он всегда её включал в один и тот же час. После кратких переговоров с «большой землёй» Северьяныч развёл руками. – Ну, я же говорил...

– А чего это они? Мы же договаривались. – Тиморей на небо посмотрел. – И погода прекрасная.

– Это для тебя она прекрасная. А вся рыбёшка почему-то на поверхности мечется.

Художник посмотрел в сторону озера; по синевато-светлой, словно загрунтованной поверхности рыба рисовала то кружки, то стрелы.

– А чего она мечется?

– Кормится. Перед непогодой. – Дед-Борей зевнул. – Давай-ка, Мотя, и мы покормимся. Только перво-наперво мне надо накормить собаку. Это уж закон: сам хоть с голоду пухни, а собаку не забижай.

– Она у тебя молодец, я заметил.

– Ну, что ты! Юла, она мне... – Дед-Борей хотел сказать: «заместо дочки», но промолчал.

Северную лайку – за быстроту и оборотливость – он окрестил Юлой, Юлайкой. Собаку эту ещё «в девках» присмотрел, сам натаскивал, учил по первоснежную тропить горно-стая, песка. Брал на глухариную охоту, в воду бросал за подстреленной уткой; утопнет – значит, не судьба. Приучал к капканам, расставляя их кругом избушки, намертво прикручивая к деревьям или кольям, чтобы Юла, попавшись, не

волочила за собой капкан и не пыталась бы орудовать зубами – поломает о железо. Выросла – нет слов для похвалы. Хоть по земле, хоть по воде, хоть по глубокому снегу Юла вертелась, только шум стоял. Охотник не мог нарадоваться. Прежде был у него черномазый пушистый дьявол по кличке Темень; как свечереет летом – в трёх шагах не видно кабеля. Но Темень, к сожалению, больше годился для упряжки, чем для охоты. Он, словно кот, великолепно ловил мышей для собственного брюха, а вот по горностаю или песцу работал без души, без огонька в глазу. Кроме того, на кобеля порою «находило». Увидит, скажем, зайца, вылупит шары, поднимет хвост трубой – словно черный дым из заду повалил. Заяц рванет – кобель за ним. Дураковато заливаясь восторженным лаем, будет, как бешеный, гонять косого, пока не загонит, или покуда сам не упадет, красным цветком вываливая язык перед собой. И так однажды дьявол тот увлёкся беготнёй – напоролся на стаю полярных волков. Только лохмотья шерсти сажей полетели, оставаясь трепыхаться на кустах, да кровь застыла на снегу, рассыпавшись волчьей ягодой... И вот тогда пришлось искать замену.

Разумная проворная Юлайка для охотника была больше, чем просто собака. На людях Дед-Борей строжилась, покрикивал на неё, но, оставаясь наедине, давал потачку. Мужская ласка и грубоватая нежность, природой предназначенные для детей, но не востребованные – эти чувства, обжигающие сердце, будто молния, уходили в «громоотвод» – в

трудолюбивую смышлёную собаку.

Погладивши Юлу, художник встал.

– Северьяныч, ты был прав, – сказал он, глядя в небеса. – С минуты на минуту загрохочет!

Погода испортилась. Над перевалом набычилась тёмная туча с белорогим широким месяцем, едва заметным. Ветер зашумел в деревьях, ломая сухопарые тонкие ветки. Дождь налетел петухом, застучал по стеклине, склевывая незримые зёрнышки. Месяц, роняя на озеро сухие берестянки света, скоро прижмурился, пропал. Незакатное солнце полярного дня, попавшее в мокрые сети, стушевалось на западе, лишь изредка мерцая красными жабрами, точно хватая губительный воздух и угасая на камнях перевала. Молния сверкнула – причудливым зигзагом распорола синевато-свинцовый сумрак. Земля в тишине содрогнулась, будто кто-то сильный попытался выдернуть земную ось. Вода испуганно взморгнула под берегом. До слуха докатился приглушённый пушечный удар, породивший горное эхо. За первым раскатом второй накатил. И «стеклянный» вечер вдребезги рассыпался. Озёрная гладь почернела, разодранная ветром и на скорую руку зашиваемая белыми стежками молний. Вода запузырилась, подкипая в озере, как в каменном котле, где вместо чугунных проушин торчали два мрачных мыса – на том берегу и на этом. Пена из бурлящего «котла» попёрла, вытекая через края – шматки шипели и шарахались на прибрежной косе. Редкая рыба играла, белыми стружками мелькая на по-

верхности – точно царская уха варилась в огромной посудине, под боком которой солнце полыхало кострищем, дымило тёмными рваными тучами среди стволов и веток, шевелящихся от ветра и огненно подкрашенных сырыми отчаянными отблесками. Под берегом поблизости трепетал ольховник, полярная ива постанывала, заваливаясь набок и теряя листву.

В избушке помрачнело. Труба волчицей взвыла на мгновение и захлебнулась. И в природе и на душе тоскливо сделалось.

– А я-то планировал завтра... – Тиморей вздохнул. – Эх, накрылись мои радужные планы!

– Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, – напомнил Дед-Борей чью-то мудрость. – Ну, что там? Подогрелось?

– Готово.

– Хорошо.

Потирая грубые «дощатые» ладони, Северьяныч принюхивался к запашистому вареву. Достал поллитровку.

– О! – Тиморей улыбнулся. – А это откуда?

– Заначка. НЗ.

Тиморей теперь – не то, что в прошлый раз – откровенно обрадовался поллитровке.

– Ну, давай, отец, – провозгласил он, поднимая стакан, – за то, чтоб непогодка скорей закончилась!

– Как знать, как знать... – задумчиво ответил Дед-Борей.

Потом они молча сидели, хлебали уху из пыжьяна. Выпили ещё. Северьяныч печку затопил. Посмотрел на керосинку, стоявшую в углу на лавке. Хотел запалить, но передумал: в сумерках уютней сидеть, разговаривать. Душа его размякла, тёмные скулы, откуда начиналась борода, порозовели пятнами. Разгладилась глубокая морщина, проломившаяся наискосок по лбу.

Ливень за окошком полоскал отвесно, ровно, плотно – как будто избушка стояла на краю водопада. Всё окошко ровно затуманилось, а по краям запотело мелким, разноцветным бисером – свет переливался в капельках воды.

– Давно это было, сынок, – неожиданно сказал охотник, приступая к неторопливому и продолжительному повествованию. – Попал я однажды в когтистые лапы...

## 8

Однажды Антон Северьяныч попал в лапы когтистой полярной пурги. Ах, как она тогда бесилась в тайге и в тундре! Яростно пыталась корчевать старые деревья на берегу ручья, где стояли капканы и ловушки. Пурга его сбивала с ног. Валяла как мешок с мукой, катала по низинам. Обидно было то, что непогоду охотник заранее почуял, но всё-таки отправился проверять ловушки.

– Жалко, если песец пропадёт на очепе, – признался он. – Что такое очеп? Ну, тут, сынок, словами не опишешь. И на

пальцах трудно показать. Очеп, или ощеп – это что-то наподобие колодца, где приготовлен замороженный капкан. Песец – наша миниатюрная полярная лисица – приходит, берёт приманку и в тот же миг таинственная сила вдруг поднимает зверушку вверх. Бац – и готово. Песец поймался на дармовщинку... Запомни, сынок! – Северьяныч потыкал пальцем. – Всё, что даётся бесплатно, должно настораживать; в жизни всегда за всё приходится платить... Да, так вот. Песец попался. В определенное время я встаю на лыжи и бреду по путику, собираю мёрзлую добычу. Хитромудрые эти ловушки – очепы трудно ставить, по этой причине промысловики редко ими пользуются. А если ты поставил, насторожил, – проверяй, куда россомаха не добралась, попортит шкурки, а это деньги...

– А сколько шкурки стоили?

– Ну, в то время, о котором я говорю, цены были повсюду смешные. Песец, например, стоил сорок девять рублей двадцать копеек. Соболь – около восьмидесяти рублей. Горноста́й – девятнадцать рублей двадцать копеек. Причём якутский первоклассный горноста́й... Мне ловить было гораздо удобнее именно горноста́я, но приходилось добывать не то, что удобней, а то, что практичней. Такая житуха. Соболь – вот что было моей бедой и выручкой. Если нужно раздобыть запасные части для снегохода или с вертолётчиками договориться... Да мало ли, какая нужда придавит! Короче, из всего того улова соболей, какие попадали в мои руки, прибли-

зительно треть уходила налево...

– Каждый третий? Ого!

– Ну, а что поделаешь? – Дед-Борей закурил. – Ладно, вернёмся к пурге. То есть к началу снежной заварухи. Есть такая давняя примета: если плохая погода в гости к тебе собирается, – верхние ветки у елок опустятся. Покидая избушку, я заметил, что ёлка под окошком «нос опустила». Заметил, и всё-таки пошёл. Только собаку свою – умницу – пожалел. Посадил «под замок». А сам на лыжи – и вперёд. Думал, успею проверить. Но пурга на голову свалилась... Заварила такую кашу – не расхлебать... Мне и раньше случалось плутать во время пурги, но как-то выбирался, а тогда... Маленько даже струсил! Не то, что Север с Югом перепутал, – земли от неба отличить не мог. Зимовьё стояло рядом – чутьё подсказывало. Но когда я пошёл по наитию – вниз головой навернулся откуда-то с каменной кручи. Под обрыв скатился, лыжи поломал. От страха, от бессилия стал кричать, на помощь звать. Смешно, сынок! Кого тут звать, когда кругом на сотни километров ни одной живой души? Разве что медведя можно в берлоге разбудить, но из него помощник – не дай бог! И всё-таки кричу, зову на помощь... – Храбореев улыбнулся. – И что ты думаешь, сынок? Помогли мне. Пришли на помощь. Кто? Царёк-Северок.



Пурга внезапно утихомирилась, и Дед-Борей услышал звон в ушах. Ещё немного полежал, прикрывая голову руками. Поднялся. Прохладную «манную кашу» из-за пазухи выгреб. Шапку взял за ухо – поблизости валялась. Ошалело посмотрел по сторонам, подумал: «Что за чудо? И с чего это вдруг? Почему?»

Ясная полярная ночь обнимала сонную тайгу и тундру. Пригоршней мерцающего жемчуга в мёрзлой темени пересыпались яркие Стожары. Возничий вольготно раскинулся «на облучке». Задорно, весело горел Персей. На вершину далёкой горы когтистой лапой наступила Большая Медведица. Охотник, ориентируясь по ней, нашёл блестящий бриллиант – моргающий глазок чуть заметной Полярной звезды. А дальше, когда он пригляделся, увидел, как во мраке, среди сонма созвездий, светлой слезой по небесной щеке стекала пульсирующая капелька – рукотворный спутник. А дальше...

Мёрзлый воздух в вышине вдруг зашуршал. Так шуршит в магазине дорогая материя, когда ее разворачивают перед глазами дорогого покупателя. Над заснеженными горами, обступившими озеро, разноцветными лоскутьями развернулось дивное сияние. Пёстрым, веселящим водоворотом закружилось, уплывая вдаль и отрясая мелкую цветоч-

ную пыльцу на деревья, на гребни сугробов.

В чистом небе над вершинами тайги неожиданно возникло широкое лицо луны, белое, точно обмороженное: синие пятнышки виднелись на щеках. Свет заиграл, морозными тонкими иглами втыкаясь в подушки белоснежных гор, в соседние лиственницы, кусты. Снег вблизи становился ослепительно белым, а вдалеке – сероватый, с волчьим оскалом. Зашевелились тени в тайге и в тундре, точно серая стая по сугробам ползла. Но даже тени в ту минуту представлялись белыми, искристыми. Дерево, промерзающее до сердцевины, бухнуло неподалёку, заставляя Северьяныча вздрогнуть. От гулко-го «выстрела» в кедрях всполошился дремлющий глухарь, любящий зимою квартировать в кедровниках. Длинным полотенцем с веток на мгновенье свесилась кухта, сбита крыльями, – глухарь с испугу поспешил улепетнуть в темноту ближайшего ельника, куда не могли проломиться яростные лунные лучи.

А потом во мгле послышался тонкий серебристый колокольчик, шаркуны зашаркали. В недоумении поглядывая по сторонам, охотник увидел светящееся облачко, похожее на шаровую молнию.

Яркий шар, постепенно увеличиваясь в размерах, прокатился по мглистому берегу, укрытому широкой рваной тенью, откинутой береговыми кручами. В середине шарового облака пригрезилась оленья упряжка и фигура небольшого погонщика, сидящего на нарте. На нём красовалась волшеб-

ная мантия, пошитая из той материи, из какой под небесами шьют полярное сияние. Стремительная лёгкая упряжка тела по-над землей, ни копытами, ни полозьями не касалась оловянно мерцавшего льда...

Храбореев изумленно смотрел и думал, что надо бы скорее отвернуться от наваждения, пока совсем не вышибло рассудок. Понимал, что надо, но отвернуться не мог. Более того, захотелось побежать навстречу, упасть на нарту, скользящую по воздуху, и умчаться куда-нибудь в райскую даль, где вечное тепло и любовь, где нет ни печали, ни голода, ни заботы.

– Я, грешным делом, тогда подумал... – рассказывал Дед-Борей, – вот так вот, думаю, погибает наш брат, промысловик. Чертовщина всякая мерещится рыбакам да охотникам. Мужики идут в объятья миражам и пропадают...

О подобных видениях Антон Северьяныч много слышал, но мало верил, только усмехался. И вот *оно* явилось. И тут уж – не до смеха. Аж зубы зазвенели; то ли от холода, то ли от страха... Охотник стиснул зубы, чтобы «горох не дробить». По белопенным гривастым волнам-сугробам, озарённым луною, вразмашку доплыл до зимовья. И только-только двери за собой захлопнул, – пурга опять взъярилась, да пуще прежнего, будто разозлилась на того, кто помешал ей править белый бал.

Луна зажмурилась за облаками. Налетевший ветер по стеклу хлестанул снегами. За стеной олени приглушенно

хоркнули, саданули копытами. И собака, остававшаяся взаперти, задрожала всем телом, заскулила и прижалась к ногам охотника. Затравленно зыркнула в окошко и упала на пол – по хребтине прокатилась вздыбленная шерсть. Северьяныч тоже посмотрел в окно... И вот здесь-то ему сделалось не по себе. Голова закружилась. Смелое крепкое сердце, как медвежьей лапой, защемило горячим предчувствием. Только это было не предчувствие беды – наоборот. Что-то хорошее, светлое должно было случиться в жизни. И уже случилось – уже пришло, глядит в окошко и улыбается. «Кто там?»

Странная слабость навалилась на охотника. Задремал, не в силах даже рассупониться, лишь разулся, да и то наполовину, – обувка осталась на левой ноге. Через какое-то время, когда он крепко заснул, похрапывая, собака осторожно подошла, понюхала подметку и отпрянула, пугливо прижимая уши.

Утром он очнулся – голова болит, как с похмелюги. Встал, подслеповато поглядел в окно. После пурги от малого оконца только белое дупло осталось – всё завалило снегом. В «дупле» зазывно голубело небо. Над горами серебрился тонкий нарождающийся месяц «в рукавицах». Это значит, погода на мороз повернула. Когда бы месяц был «в кругу» – это к метели.

– Постой! Как так? – пробормотал он, хлопая глазами. – Ночью в небе плавала огромная луна. Кто обглодал её до тон-

кой корочки? Росомаха, что ли?

Пить хотелось – во рту пересохло. Но воды в избушке не оказалось. Собираясь пойти к роднику, он взял ведро. Однако выбраться на волю оказалось не так-то просто. Пурга запечатала избу до самой маковки. Теперь эта изба напоминала деревянную посылку, отправленную в вечность. А внутри посылки – бедняга Дед-Борей.

Он постоял перед раскрытой дверью – вовнутрь открывалась. Рукой потрогал, а потом ногой раздражённо попинал мраморную стену спрессованного снега, напичканного каменной крошкой, замороженными ягодками голубики, хвоинками, рваным листом и тоненькими ветками. В лицо повеяло прохладной мятной карамелью, будто конфетная фабрика находилась поблизости.

Привычное дело – откапываться после пурги, пробивать ходы и норы в спрессованных суvoях двухметровой высоты. Только спросонья лень лопату брать, снегоборьбу затевать.

– Ну вас к лешему! – Охотник вздохнул, потирая висок. – Если хочешь поработать, ляг, поспи и всё пройдет...

Так он и сделал. Плотнo закрывши за собою дверь, присел возле стола и задремал в обнимку с пустопорожним ведром. Забылся на минутку вроде бы. Расслабил руки, выпустил ведро – и содрогнулся. С весёлым колокольным перезвоном ведерко брякнулось на пол и покатилося. Северьяныч охнул, открывая глаза. Ведерная дужка, отлетев от ведра, лежала в тёмном углу и сияла – серебряным полумеся-

цем. «Шельма!» Он улыбнулся, протирая глаза. Это солнце светило в окно и ведёрная дужка нестерпимо блестела.

Отдохнувший, бодрый охотник поднялся. «Сколько ж я проспал?» – подумал, зевая и включая допотопный транзисторный приёмник. Передавали сигналы точного времени. Странно! Обычно в это время за окошком над горой занималось чахоточное утро, подкрашенное вялым полярным солнцем. А теперь – диковинное что-то происходило. За окном солнце горело ярким полным кругом. Незнакомая пичуга, попискивая, суежилась на краю оконной рамы; вкусненькое что-то выхватывала клювом из болотного мха, туго набитого между рамой и косяком.

Свободно ступив на крыльцо, Дед-Борей даже не вспомнил, что дверь ещё недавно снегом была намертво запаяна. Горбатая заструга, зародившаяся далеко от порога, белопенным «девятым валом» завалила крышу зимовья. Следы росахи четко читались на помятой белоснежной странице. Но охотник сейчас не под ноги смотрел, – любовался небом и деревьями.

Свежий, пургою обновлённый мир воскрес посреди великой тишины. Мир – во всём своём торжественном благолепии красок, звуков и морозных ароматов. Живыми колокольцами позванивали птицы. Перепархивая с ветки на ветку, сорили мерзлым серебром. Вдалеке под берегом курилась полынья, пар становился малиновым, попадая на солнечный свет, струящийся из-за горы. Розоватые сугробы

под берегом чудились громадными разбитыми арбузами, где чёрными семечками виднелись три ворона. Изредка лед на озере тонко попискивал, будто прошнурованный незримой молнией. Под снеговьём старчески ссутулились береговые кедры, лиственницы. Среди стволов сонно блуждали пятна молочного света, переливались через гребни сугробов и ручейками струились в обрыв.

Лайка, натамившаяся взаперти, резвилась вокруг избушки, обнюхивала чашечки следов росамах. Тыкалась носом в россыпь заячьих следов. Всё это было ей знакомо, это веселило и бодрило. Но вдруг собака насторожилась. Что-то незнакомое резануло по носу... Пружинисто приподнимаясь на передних лапах, лайка вонзилась глазами в соседний лесок. Но беспокойство её оказалось мгновенным. Неведомый запах пропал – и тревога пропала. Играя сама с собою, со своим хвостом, собака валялась на снегу, перебирала по воздуху лапами и от удовольствия повизгивала. И, как всегда на морозе, от нее густо воняло псиной. Накувыркавшись, почистив шубу, лайка опять насторожилась. Весёлые янтарные глаза померкли. Принюхиваясь, она чихнула, смятенно глядя по сторонам.

После выюги и сильного ветра на открытых местах образовалась прочная снежная корка, так называемая «ветровая доска», по которой, не боясь провалиться, могли бегать зайцы, лисы. Неподалеку от зимовья лайка обнаружила на ветровой доске «белые сучья» – проступившие следы зверей,

несколько дней назад прошедших здесь по мягкоснежную в тихую погоду. Среди следов зверья и птиц она учуяла и разглядела маленькие беленькие «лодочки». В глубине, на самом доньшке следов, таилось нечто похожее на звёздную, морозно сияющую пыль. Да нет, какая пыль? Две-три пылинки.

Лайка голос подала.

– Чего ты, кума? – Не понимая и не разделяя беспокойства собаки, Храбореев погладил густую шерсть. Посмотрел на небеса и улыбнулся. Несказанная радость на душе у него распускалась, как цветок золотого корня – корня жизни. Сердце без видимой причины весело заволновалось, громко и часто бухая. «Как будто выпил водочки, язви тебя!»

Северный берег озера – узкий треугольник, уходящий в скалы – не укрывался льдами ни при каких морозах. Там исток Медвежьей речки, зверовато рычащей, растрясаящей пену в камнях-клыках. Обычно Храбореев воду черпал у источника, но сегодня пробираться туда не хотелось – в сугробах по пояс увязнешь. Лучше к роднику сходить – намного ближе.

Он лопату взял и, раскрасневшись, пробил тропинку. Пошатываясь, опираясь на пешню, как на костыль, добрался до валунов, где из-под снега торчал куст можжевельника – северного кипариса. Под кустом пропечатались крестики глухаря и тетёрки – успели наследить у родника, покормились можжевельной шишкоягодой: одна такая ягода лежала на



снежной скатерти.

Тускло мерцающим жалом пешни он продолбил «оконце», разбрызгивая звенящие стеклышки льда — новогодними игрушками повисли на ветвях можжевельника. Родниковая вода, ужаленная острою пешней, выстреливала фонтанчиками из проколов льда, кропила лицо. Утираясь, Дед-Борей весело жмурился.

Прорубь задымилась, зашлёпала мокрыми губами, глухо булькнула и облизнулась, проглатывая тестообразные намокшие комья упавшего снега. Небеса опрокинулись в прорубь — в глубине пропорхнула отражённая птица. И прискакал откуда-то «напиться» яркий солнечный заяц — нежным красноватым язычком лизнул ледовитую воду, обжёгся и отпрянул в можжевеловую тень. В глубине каменной чаши родника появился багровый листок с траурной зубчатой окантовкой; плавно покрутился в струях, вязавшихся тугими узлами, и пропал, увлекаемый донным течением.

Листок напомнил детскую ладошку. Северьяныч тяжело вздохнул. Давно огрубелые, крепкие пальцы дрогнули. Тонко и жалобно звякнула дужка, — ведро откатилось. Ковшом согнувши руку, он зачерпнул родниковую воду, шумно глотнул. И неожиданно вспомнился большой светлый конь — из далекого детства.

На красивом жеребце он тогда прискакал к водопою, засыпанному зернистым солнцем, точно отборным сухим овсом. Разгоряченный конь, громко жующий удила, нетерпе-

ливо сунул под берег белоснежную морду с чёрной розой во лбу. Прядая ушами, слушая задорные посвисты мальчишка, конь полуведерными глотками тянул в себя живительную влагу. На мгновенье замирая, жеребец шумно дышал на воду, дёргал кожей на брюхе, отгоняя слепня, и опять утробно ухал горлом. Потные бока, натертые колхозной упряжью, заметно раздувались и твердели, как барабаны – мальчишка это чувствовал босыми растрескавшимися пятками.

«Когда всё это было? Да и было ли?» – Храбореев запечатлелся, в глазах солоновато защипало.

– Ах, сынок, сынок! – прошептал он, глядя в прорубь. – Где ты теперь?

И вдруг под ухом раздалось:

– Ты не печалься! Я рядом! Теперь я – Царек-Северок. А когда я вырасту – буду Царь-Север!

Храбореев не удивился, не испугался.

– Хорошо. Я всегда сердцем чуял, что ты где-то рядом. А что ж ты долго так, сынок, не подавал мне голос?

– Боялся.

– Чего?

– Люди не верят таким голосам. Думают... ну, ты знаешь...

– Думают, что это... что свихнулись?

– Ну, да.

– Вот и мамка твоя так говорила мне, когда я сказал ей про тебя, что ты живой, что я с тобою разговаривал. Помнишь,

там, на Колдовском?

– Конечно, помню.

– А теперь ты где живёшь?

– Далеко. И в то же время – рядом.

– Где? На Полярной Звезде? На колу сидишь? – Храборев усмехнулся. – Это дядька мой, профессор, говорит, что, мол, Полярная звезда – небесный кол, кругом которого вся жизнь вращается... А мне знакомый летчик про тебя рассказывал, сынок... И захотелось мне слетать к тебе. А он боится, летчик тот. Я прилечу. Ты жди.

Охотник замечтался, глядя в небо. Ночь стояла над горами. Кажется, только что светило солнце, бледненькое, правда, но всё-таки солнце. И вот – стемнело. Мороз прижал.

Глубоко вздыхая, Дед-Борей очнулся и плечами передёрнул, стоя на пороге избышки. Опустил глаза. Потом опять посмотрел на жемчужину далёкой Полярной Звезды. «Значит, Царёк-Северок, мой сынок, там теперь проживает? Говорит, совсем недалеко. Рукой подать. Это какая же такая рука должна быть?»

Позднее он понял: это нам, простым смертным, кажется, что звёзды далеко и широко рассыпаны во мгле мироздания. А им, небесным жителям, от звезды к звезде, к Луне или к Земле пройти – как нам через дорогу от дома к дому.

Царёк-Северок на оленьей упряжке прилетал на Землю быстрее молнии, быстрее мысли. Только охотник, бывало, подумает, позовёт на помощь, и вот уже слышит: зазвенел

в тишине колокольчик, захоркали небесные олени. Только Антон Северьяныч не любит на помощь звать. Мужчина, если настоящий, сам должен приходить на помощь, а не звать и уж тем более не уповать на чудо; оно сегодня есть, а завтра... Надо надеяться лишь на себя.

\* \* \*

С великим нетерпением и светлой детской радостью Храбореев ждал прихода весны. Скоро, казалось ему, не сегодня, так завтра закипит работа на небесах. Седобородый суровый Царь-Север натянет ледяные свои рукавицы, выйдет в чистое небо, как в чистое поле и, побряхтывая, покатит полярное солнце – поближе к Земле. А Царёк-Северок помогать ему будет. Помощник пока что с него никудышный. Если приглядеться: отрок по большей части играет на небе, чем помогает.

И видно и слышно бывало, как тёплыми вешними днями Царёк-Северок по лазоревой горке небес во весь дух пролетал на оленьей сказочной упряжке. Спускался на грешную Землю, хороводил по кругу – большому Полярному кругу.

«Ребенок! Что ж ты хочешь? Пусть покатается!» – с нежностью думал охотник, из-под руки поглядывая вдаль. Тихо было. Птичья песня раздавалась на десятки верст. А голос Царька-Северка слышен был в поднебесье – за сто километров. Разговаривали – как будто рядом.

– Дед-Борей! А хочешь, я тебя прокачу?

– Какой я тебе дед! Кататься? Вот придумал. Баловство.

– Ну, не скажи. Ты ведь не пробовал? Попробуй, тогда будешь говорить. Или боишься?

– Бог с тобой, сынок! Я уж давно ничего, никого...

– Ну, тем более. Садись.

– А далеко? Поедем-то?

– Куда скажешь, туда и сгоняем.

– Что? И на Полярную Звезду можно смотаться?

– Запросто.

– Оно, конечно, интересно. Можно бы. Только некогда. – Северьяныч оглянулся на избушку. – Надо в земле покопаться, а то нижние венцы уже подгнили...

– Вот так всегда! В земле всю жизнь копаемся, как поросята, и всё некогда нам в небесах погулять, погостить на какой-нибудь светлой, прекрасной звезде.

– Это верно, сынок. Тут уж ты не в бровь, а прямо в глаз...

– Ну, так что? Уговорил?

Пригревало. Храбореев шапку снял.

– Эх! – Он треснул шапкой оземь и тут же подхватил её. – Поехали! Как сказал один весёлый космонавт. Правда, он не вернулся на Землю...

– Ты про Гагарина, что ли?

– А ты откуда знаешь?

– Как не знать? Юрий Алексеевич живёт через дорогу от меня.

У Храбореева глаза округлились.

– Так он же вроде помер?

– Нет, живой.

– И где он? Тоже там? На Полярной Звезде?

– Зачем на Полярной? У него своя планета. Именная.

– Значит, там – не то, что здесь? В смысле квартирного вопроса?

– Там таких вопросов вообще не существует. Места много. Живи – не хочу. Вопрос в другом...

– И в чём же?

– Много званных, да мало избранных.

– Это как же? Рад бы в рай, да грехи не пускают?

– Примерно так, – подтвердил небожитель. – Знаешь, как смешно и грустно нам бывает смотреть оттуда на вашу Землю, вашу возню...

– И что же вам оттуда видно?

– Всё! Видно, как вы тут, на Крайнем Севере, коптите небеса – аж до звезды долетает проклятая сажа. Как вы тут здоровье гробите своё. И за что? За копейку? Горло друг дружке грызёте. Совестью торгуете...

Дед-Борей насупился.

– Я уж давно не гонюсь за копейкой. По молодости, по глупости было, не спорю...

– Я не про тебя... Я вообще – про людей говорю. Несчастные они какие-то. Мне их так бывает жалко, взял бы, зачерпнул и золотом осыпал бы – нате, сколько хотите, только не

ройтесь в земле, оторвитесь и посмотрите, какое сказочное небо над головами.

И в самом деле, Господи, какое изумительное небо над землей! И день за днём оно становится ещё великолепнее. Припекает солнце. Смеются ручейки на склонах, куда-то пробегая по своим делам. Расплавленными яркими дробинками под окошком охотничьего зимовья стучит капель... Желтый прошлогодний лист, перезимовавший в снегу, оттаял под берёзой, ожил и вдруг откликнулся игривому ветру: встрепенувшись, листик поднялся на крыло и улетел восвояси. На заповедном озере вода вспухает около берега, становится увеличительным стеклом – жарко отражает яркие лучи. Каменный Бык, много веков назад сгорбатившийся на противоположном берегу, принимается «жевать солому» – желтоватая вода, играя отраженным солнцем, плещется возле гранитного рыла. Трясогузки появились, весело порхают около избушки, пробуют мох теревить между бревнами, куда выползают погреться какие-то букашки да козявки. В прошлогодней спутанной грязной траве шмыгают рыжие лемминги, словно чертики, только без рожек, без хвоста.

– Эй, – шутливо сердится охотник, – вы еще тут будете под ногами путаться!

Мышь с разгона пулей втыкается в мягкий подмокший сугроб – дырка синее в снегу. На крыше колокольцами позванивают воробьи, весенним ветром принесенные Бог весь откуда-то. Ласточка-береговушка стремглав ныряет с неба

к солнечной воде и взмывает над голыми крутыми лбами соседних скал. Угрюмый, всю зиму сурово молчавший утес разговорился вешними днями – светлым длинным языком из гранитной пасти высунулась шумная вода. Потоки дробятся у подножья утеса, а ночью там нарастает белая рафинадная глыба.

По ночам – с характерным хрясканьем и утробным уханьем – на озере ломается ледяная броня, словно там горбатится бригада рыбаков: пешнями долбит, колуном дубасит, вырубая глубокие майны во льду; люди спускаются по ступеням к воде, чтобы сетями таскать жирного сига, чира и пелядь, как делали это далёкие дерзкие пращуры.

Полуденное солнышко ласкает так, что в заветерье можно загорать – не надо ни Крыма, ни Рима. Заснеженные кедры, сосны, лиственницы, медово млея на солнцепеке, неохотно разголяются; поскрипывая в тишине, покряхтывая, снимают боярские шубы и кафтаны, стеганные ветром. На водоразделах оживают ручьи, серебряными сверлами буравят аквамариновый лед на притоках. По каменному желобу, проточенному в скале, вода катом катится с верхнего яруса гор – вылетает на край, раскрывается шумным водопадом, издали похожим на стекловидные трепетные крылья огромной стрекозы.

По тайге, по тундре двинулся песец.

– Люблю я эту зверушку, – говорит Северьяныч. – Я могу про песца песни под гармошку петь или поэмы слагать,



только слушай.

\* \* \*

Песец – это бродяга, романтик Севера, великий бесшабашный странник. Восемь месяцев в году песец, забубенный шельмец, пропадает где-то в чужих краях. Не иначе как вино и водку хлещет где-нибудь по кабакам, песни орёт и рубаху на груди своей в лохмотья рвёт, другим песцам, бродягам-братьям доказывая что-то. А с первыми весенними припёками – в марте или в апреле, – заслышав голос сердца, вековечный зов природы, он говорит себе: ну, все, песец, пора, мол, покоя сердце просит, летят за днями дни и каждый день уносит... В общем, бродяга торопится к родине. Бродяга Байкал переехал, рыбацкую лодку берет... Добравшись до родных краев, песец начинает искать на бесконечных тундровых просторах, и находит – обязательно находит! – самую лучшую в мире песчиху. Под музыку ветра с капелями, под свирельное журчание ручьев сыграют они свою скромную свадьбу, станут одной семьей – семьей Песцовых. И пойдут искать себе жилье, благо, здесь – в тайге и в тундре – нет проблемы с квартирами. Из века в век, не покладая мозолистых лап, трудились пращуры песцов, понастроили чёртову уйму подземных дворцов. Крылечко, то есть бугорок, удобренный отходами и остатками многолетней пищи, издалека видать.

Присмотрев хорошую хоромину, молодожёны берутся

очищать да освещать жильё, расширяя подземные галереи, делая отнорки и пробивая дополнительные выходы – на всякий пожарный случай. А через пятьдесят деньков, когда земляная завалинка возле дома обрастет, обтыкается зеленой пахучей травкой и зацветет неярким тундровым цветком, – на пятьдесят втором или на третьем дне, – в доме Песцовых появятся детишки. И душа у родителей тоже зацветёт незримым, но ярким цветком. То-то радости в доме! Возможно, два иль три детеныша родится. Может быть, четыре. А может, все двадцать песчат по углам зазывно запищат, – это уж как папа с мамой постарались. Но главный вершитель судьбы, – конечно, сама Природа, которая знает, каким будет грядущий год и надо ли «нищету плодить», как люди говорят.

Товарищ или господин Песцов, ставши отцом, неожиданно преображается. Он теперь водку не пьёт и не курит табак. И позабыл он дорогу в кабак. Вчерашний бродяга, беспечный романтик тундрового простора, Песцов прижимает свой хвост и превращается в добропорядочного солидного семьянина. И денно и нощно таскает он пищу домой, кормит бабёнку свою в первые дни, когда она благополучно разродилась. Летом в доме на столе в семье Песцовых можно увидеть ягоды, птичьи яйца, мясо птиц или животных, погибших во время шторма на озере.

Дети вырастают в августе, иногда в сентябре. Выкормив пушистых бесенят, родители с чувством исполненного долга, с чувством грусти и невыразимой печали посидят на тёп-

лой завалинке около дома, о том, о сем поговорят на своем песцовом языке. Потом обнимутся, прощально расцелуются, да и разойдутся, разбегутся на все четыре стороны, как в море корабли, чтобы никогда уже не встретиться. Что делать! Такова природа, не признающая сантиментов и лирики.

Жизнь продолжается. В августе изумрудная тундра поблекнет. Вспыхнут пожары осин и полярных берёз, но потухнет, стеклом загустеет вода. Голубика поспеет – крохотный кустарник, отличающийся удивительной жизнестойкостью: голубичник доживает почти до ста годков. Жёлтой и оранжевой россыпью драже раскатится по тундре морошка. Подберёзовик и подосиновик шляпы надевают – пижоны! – выходят себя показать и на мир посмотреть. В небесах горланно гогочут гуси. Молодые утки пролетают. Птицы пробуют крылья, готовятся к далёким серьёзным перелётам.

И песец, бродяга, заволновался, будто крылья у него под шубой чешутся. Вечерами в непонятной истоме, в тоске песец негромко лает на холодную луну, засыпавшую озеро бесчисленными блестками, похожими на серебристую чешую.

И опять он говорит себе: ну, все, песец, пора – туда, где за тучей синееет гора. А что там, за горой? Он сам не ведает. Он только знает, что пора приспела. И в первых числах сентября этот бродяга опять отправится в путь. И вот что интересно: бывает так, что лемминга полно – это основное пропитание песца, – бывает так, что и квартира у него, и дача, и машина, всё имеется. А вот поди ж ты! Нет в душе покоя, да и всё!

Не сидится, не ложится дома, чёрт возьми! Бродягу и романтика опять зовут вековые голубые дали, и ничуть не пугает погибель, на каждом шагу стерегущая.

Что ей надо, песцовой душе? Ах, если бы охотник мог ответить на этот вопрос, он был бы уже не охотник – профессор или доктор каких-нибудь наук. В том-то и дело, что никто не знает, что надо песцу за горами, за реками. Куда он идет? И зачем? У песца душа хоть и под белой шубой, а все равно – потёмки в той чужой душе. Ясно только одно: придёт весна – и тот бродяга снова побежит на родину. Никак нельзя нам без неё, без нашей милой родины – бродяги это знают лучше всех.

## 9

Эта фантастическая повесть или, точнее сказать, наивная сказка о Царьке-Северке, сказка, шитая белыми нитками полярной пурги, почему-то произвела на художника очень сильное впечатление. Целые сутки потом – в ожидании вертолёта – Дорогин ходил кругом заповедного озера. Думал о чём-то. Грустил. Возвращаясь к избушке, он просил охотника ещё «маленько соврать», продолжить сказку.

Поздно вечером они сидели у костра – около избушки. Собака с хрустом поедала кости куропатки. Дед-Борей чинил свою обувь – порвал на камнях. Расплавленное золото огня бросало тени в сумерки полярного, голубовато-аспид-

ного вечера. Земля после недавнего дождя обсохла. Повеселели травы и цветы, вдоволь напоённые.

Поддаваясь уговорам, Дед-Борей ещё немного рассказал, а вернее, попробовал рассказать про Царька-Северка, но прежнего запала и азарта уже не было. Охотник почувствовал это и замолчал – пора и меру знать. И огонь «замолчал», утомился пощёлкивать своим озорным языком. Костёр догорал, угольки рассыпались жёлто-красной ягодой. Последний крупный уголь остывал, приобретая цвет, который среди живописцев называется довольно жутковато – цвет адского пламени; лиловый оттенок красного или чёрный с красными разводами.

Охотник попрощался и ушёл отдыхать – завтра снова рано подниматься.

Оставшись один, художник с сожалением вздохнул. Посидел возле огня, подумал: «Хорошо рассказывает. Ведь знаю, что врёт, а всё равно интересно...» Отгоняя комаров, парень звонко похлопал себя по мордасам. Встал, поглядывая по сторонам.

Ущелье набивалось туманным пухом. Обострились ароматы цветов и трав. Запахи стылого камня вызывали озноб. Отсырела крыша зимовья, будто новыми гвоздями старые плахи приколотили – шляпки росы блестели.

Огромным цветком – во все небо! – белая ночь цвела и пахла над Крайним Севером. Лепестками летели на землю и воду серебристые отблески, напоминая далёкую юность;

она вдруг показалась такой далёкой, такой недостижимой, как будто Тиморей сто лет уже торчит на Крайнем Севере. В юности, когда он впервые оказался в Ленинграде – белые ночи околдовали его, и с тех пор никто и ничто не может «порчу» снять с души. Не спится белыми ночами, хоть глаз коли. Всё кажется: непременно что-то должно произойти в такую ночь.

Подживляя костёр, он любовался горным озером, туманными вершинами и фантастической игрою света. Словно кто-то в небесах медленно вращал волшебный калейдоскоп. Такое волхвование бывает лишь на северных широтах, где чистый воздух и великое пространство мечтают о прекрасном или бредят о чём-то несбыточном. Или, может быть, кто пытается показать человеку, какое богатство таит в себе душа Земли? Окружающий мир всё время что-то силится сказать нам, только мы, увы, не понимаем. Или не хотим понять.

Временами он ощущал необъяснимую тревогу. Гнус в тишине, подлетая под ухо, гнусавил и откатывался мелким бисером, почуяв густую мазь. Волны под берегом с боку на бок ворочались, перед сном укладываясь поудобнее. Вихрастый барашек, вставая, толкнулся в берег – согнал бургомистра с насиженного, нагретого места. Важностью налитый «начальник озера» нехотя отодвинулся, расправил крылья и, неожиданно плаксиво, обиженно попискивая, перелетел на другой валун. И снова – покой. И тревога. Странно. Что за волнение витало в воздухе, в бескрайнем призрачном покое задремав-

шей тундры? Что смущало человека в затаённой загадочности этой белой полярной ночи? Мир словно спал с открытыми глазами, и что-то неестественное было в этом состоянии.

Осмотревшись, Тиморей удивился. Вот уж не думал, что на Крайнем Севере можно встретить мираж. Ладно – в пустыне, в пекле; там, на огромной раскалённой сковороде, любой мираж «поджарится». Но здесь – это дико. Здесь по ущельям спят ещё сугробы, а на притоках каменно сверкают зеленеватые многопудовые крыги, изъеденные солнцем, заливаемые шершавыми языками ветров.

И, тем не менее, мираж – вот он, родимый. Да не один. Сначала вдали замаячил древний «Летучий Голландец», призрачно подрагивавший на горизонте. Форштевнем отражая тусклое солнце, посудина подняла паруса и медленно откочевала, уменьшаясь до размеров детского кораблика. Оторвавшись от линии горизонта, корабль мягко растворился в небе. Затем упряжка северных оленей побежала по зеркалу спокойного озера, не касаясь копытом зыбкой поверхности. Тихое таинство северной белоликой ночи, наполняясь миражами, становилось ещё более таинственным, пугающим и одновременно привлекательным.

Забывая о времени, о комарах-вурдалаках, зачарованно глядя в туманную даль, Тиморей шагал вдоль берега, не отдавая себе отчета в том, что вперед его толкало сумасбродное желание догнать мираж, забраться на скользящую нарту, запрыгнуть на борт белоснежного судна. Улететь или уплыть

в неведомую даль... И что за отрава такая, этот северный стылый мираж? Не одного человека, наверное, он сбил с панталыку, закружил по тундре и подарил только одну отраду – скорую гибель?!

Странное, болезненное головокружение «раскрутило» землю под ногами художника. На душе запели райские птички, и зацвели «ландыши вспыхнувших сил», заставляя весело встряхнуться. Как будто вино разливалось по воздуху. Но ещё никогда никакое вино не давало ему такого отодхновения.

Сова над прибрежной скалой пролетела. Снежным комом села на сухую вершину лиственницы – на мачту корабля, как показалось, на заострённый клотик. «Необыкновенный слух совы, – подумал Дорогин, – позволяет ей сейчас слышать, как растёт молодая трава, как созревает ягода и тяжелеет роса, как часто чакают часы на моём запястье».

Наблюдая за совой, он с удивлением отметил: птица неожиданно сорвалась со шпиля «мачты». Будто кто спугнул. И парочка белых гусей, лежащих остатками снега под берегом, всполошилась почему-то. Вытягивая шеи с желтыми наконечниками клювов, расправляя крылья, гуси, уронив на воду щепотку перьев, шумно пошли по воздуху и приземлились – на том берегу Тайгаыра.

Тревога росла. Точно струна в душе натягивалась. В ушах позванивало. Звук становился выше, выше. Струна – всё тоньше, тоньше... Вот-вот порвется...



И вдруг он увидел оленей. И в тот же миг в душе как будто лопнула струна – грудь обожгла обрывком.

Дивные олени на берегу стояли. Кончики рогов светились. Копыта мерцали подошвами, точно полумесяцем подкованные. Крайний олень с закуржавелым храпом пугливо покоился на человека, забеспокоился, перебирая передними копытами – искры посыпались, зашипели, попадая на мокрый песок, на воду. Олень горделиво встряхнул головой – колокольчик звоном отозвался на мохнатой шее. Белым репейником под копыта куржак посыпался.

Рядом с призрачной нартой кто-то находился. Небольшой человек был окутан цветною дымкой, напоминающей северное сияние. Одежда незнакомца сверкала жемчужными узорами созвездий. Заметив тревогу оленя, возница подошёл к нему – ноги земли не касались. Погладив заиндевелое лицо оленя, погонщик что-то шепнул ему на ухо, и олень перестал беспокоиться, глубоко и облегченно вздыхая.

В руке у погонщика – позднее шутил Тиморей – был какой-то длинный «поэтический инструмент». То ли хорей, то ли ямб, то ли анапест. Да, он явно был поэтом, этот милый отрок в сказочных одеждах, поэтом весьма одарённым. Плавно, ритмично покачивая хореом, он выговаривал:

**Ай да мороз, ты силён, знаменит,  
На оленях всю тундру объездил!  
Притронешься к ёлке – там небо звенит  
Миллионами льдистых созвездий!**

«Насчет мороза – это особенно круто сейчас, в июне, – подумал Тиморей. – А так – неплохо. Ишь ты, какой он, Царёк-Северок. Или кто это? Да, он! Конечно, он!»

Спустившись к воде, Царёк-Северок неожиданно заговорил с большим тайменем, вышедшим на камни. Примерил зачем-то корону легендарной царицы-рыбы.

– У меня куда лучше! – сказал, возвращая корону.

Таймень проскрипел еле слышно:

– А что ж ты не носишь её?

– Берегу. Ты-то свою, гляжу, побил, помял уже...

– Это не я. – Таймень вздохнул. – Рыбак дурной попался. Жадный. Чуть не убил!

Тиморею стало стыдно. Собираясь повиниться перед тайменем, он поближе подошёл.

Олени испугались человека. Раздался хлопок, очень резкий хлопок. Это крайний олень саданул копытом по земле. Чёрный камень вспыхнул угольком – золотым цветком невиданной красоты. Всю упряжку окутало светящимся облаком. Зазвенели колокольцы, шаркуны, и вскоре на пустом берегу остались только редкие хлопья тумана – обрывки разноцветного сияния.

Художник вздрогнул. Он сидел на туманном берегу запо-

ведного озера, на старом бревне. Камень, скатившийся с горы в нескольких шагах от парня, стукнул «копытом», вышибая искры, и запрыгнул в воду, — круги ещё не разошлись...

Дорогин посмотрел по сторонам: «Никого! Вот что значит — не спать вторые сутки!» Он прекрасно понимал, что всё это — говорящая рыба, олени, сказочный отрок — не более чем сон, игра фантазии. Но душа пребывала в смятении. Казалось, он действительно всё это видел — явственно видел и трогал руками.

Цветущая белая ночь осыпалась махровой черемухой. Сочные кисти облаков увядали на дальнем краю озера. Черемуховый цвет — оттенки белого с переливами голубовато-серого, — тускнея, плескался возле берега. Рыба, выныривая и хватая личинку, серебристо взблеснула, оставляя круги, напоминающие рисунок на спиленном огромном дереве.

И вдруг он заметил сияние — слабый ореол над камнем, где только что стояли сказочные олени и погонщик с хорем. Волнуясь, Дорогин подошёл поближе и увидел лимонно золотой цветок — давно исчезнувший, внесённый в «Чёрную книгу». В первое мгновение он даже испугался — вместо того, чтобы обрадоваться такой находке. Затем растерялся. Что делать с ним, с этим золотым цветком? Его здесь могут затоптать рыбаки да охотники...

Тиморей побежал за походным альбомом, зарисовать хотел редчайшую находку. Но когда он вернулся — цветка не оказалось на камне. И напрасно он ползал на четвереньках

по берегу. Искал и думал: «Вот здесь он был... Как так? Ну, не приснилось же?!»

Голова гудела от перевозбуждения. Костерок, оставленный около избышки, прогорел. Парень постоял возле порога, послушал богатырский храп Храбореева – аж стекла позванивали. «Нет, рядом заснуть невозможно. Даже собака с ним не спит, в сени сбегает. Пойду, наверно, в баню».

Старая, кособокая банька стояла на берегу. Здесь пахло влажным деревом, берёзовым веником – позавчера топили. Тиморей смахнул сухие листья, сгубленные паром. Телогрейку постелил на полке. Полежал, послушал заунывное пение кровопийцы. Раздавил комара на стекле, – будто осенний листочек приклеил. Сознание туманилось. Вот-вот волной накатит сон, укроет, утянет в пучину... Однако в туманном сознании вспыхнула искра – забытое необычное словечко.

«Кука! – Он вздохнул, открывая глаза. – Что за «кука»? Видно, что-то не очень хорошее, поскольку в соседях от «куки» находится «кукиш».

Дорогин стал вертеться. Поднялся. Посидел на нижней полке и усмехнулся, припомнив деревенскую историю с одним валдайским другом, любившим выпить и в бане поспать – супруга домой не пускала, кричала: «Кука несчастный! Пей там из тазика, мочалкой закусывай».

«Ну, вот! – Тиморей усмехнулся. – Вспомнил, года не прошло!»

Позевывая, он покинул баню. Снова костер подожил. В скалах проснулся ветер, почесался о деревья, к берегу сбегал – умыться. Озерная гладь потревожилась. Волны гармошкой заиграли под берегом – негромкая, нестройная мелодия. Старая лиственница скрипнула под окном избышки – разбудила Деда-Борея.

Вышел, спросил, поживаясь:

– А ты чего так рано подскочил?

Помолчав, парень сказал:

– Я вообще не ложился.

– Почему?

– Да так... не спится...

– А-а! – догадался охотник. – Сильно храплю? Так ты бы в баньку...

– Я так и сделал.

– Ну, так что? Не понравилась?

– Баня отличная. Кука плохой. – Парень покосился на охотника, веточку сунул в костер.

– Кука? А это что за зверь?

– Не что, а кто, – сказал художник, отодвигаясь от дыма. – Кука – это привидение, живущее в бане.

– Во как! – удивился Дед-Борей, оглядываясь. – Там кто-то есть?

Тиморей тоже оглянулся и посмотрел, только дальше – за баню, за каменную горбушку берега.

– Да, там точно кто-то есть... – пробормотал, добавляя

погромче: – А, по-моему, я видел Царька-Северка.

И тут охотник вдруг «убил» его своим вопросом:

– А это кто? – спокойно спросил он.

Художник чуть не сел в костер. Чёрные кисточки бровей полезли вверх.

– Привет! А кто мне тут рассказывал? Не ты?

– Не знаю. Видно, лишку хватанул. – Дед-Борей, зевая, отмахнулся и ушел за баню – по маленькой нужде.

«Вот ничего себе!» Тиморей даже рассердился на охотника, так буднично и просто отмахнувшегося от своей великолепной сказки. А потом на душе стало грустно и одиноко посреди пустого мироздания, озаренного голубовато-пепельным рассветом. Справедливости ради, художник подумал про Деда-Борея: «Возраст! Может, даже склероз... А жалко! Была такая сказка, а теперь... голая проза, с души воротит!»

Тиморей расстроился. К берегу пошёл. Северьяныч во-зился с лодкой, сети готовился проверять. Неподалеку на берег Тайгаыра опустилась небольшая стайка – птицы теребили почки ольховника.

– Куропатки? – спросил Дорогин.

– Они. По осени их тут много собирается, вон на том мысу. – Охотник внезапно разговорился. – Перед началом холодов куропатка бродит по галечнику, выбирает камешек получше, «повкуснее». Хватает клювом и с трудом проглатывает, как человек проглатывает горькую, но необходимую

пилюлю.

– А зачем это ей?

– Так надо, сынок! – Дед-Борей подмигнул. – Так ей доктор велел. Когда холода наступают, у куропатки нежная летняя пища заканчивается. А для грубой кормежки необходимы зубы. Так что куропатка осенью на берегу, можно сказать, вставляет себе зубы. Оказавшиеся в желудке разноцветные мелкие камешки – их называют гастролиты – помогают куропатке перетирать грубую зимнюю пищу: тальниковые почки и ольховые шишки.

– Всё в природе по уму, – со вздохом сказал Тиморей.

– Мудро! – согласился охотник и, сам того не замечая, снова наладился «поэму» рассказывать. Потом перебил сам себя. – Царька-Северка, говоришь, повстречал? Это хорошо. Он ведь не каждому себя показывает.

– То есть, как это – не каждому?

– А так... Злой человек никогда не увидит.

Недоверчиво глядя на Северьяныча, парень спросил:

– Откуда же он знает, злой человек или добрый?

– Сердце ему говорит. Сердце – вещун, не обманешь.

Помнишь, как ты промахнулся вчера? Из ружья-то?

– Да я... – Тиморей отмахнулся. – Я последний раз стрелял во время Куликовской битвы. И то из лука.

– Не в этом дело. – Дед-Борей посмотрел куда-то вдаль. – В тайге и в тундре у Царька-Северка имеются любимые звери и птицы, которых он бережёт, от капканов отводит, из ло-

вушек вытаскивает. Я поначалу, когда не знал, пальну, бывало, метко, хорошо пальну. И вдруг смотрю, а дробовой заряд словно кто рукою в сторону отвел! Я пожму плечом, ругнусь, и опять стреляю в белый свет как в копеечку. А теперь-то я уж знаю, в чём тут дело. Промахнусь, перекрещусь, прости, мол, душу грешную, закину карабин за спину и поскорей до-мой, пока трамваи ходят...

## 11

Утро выдалось – как на картинке. Колоритное. Сочное. Мягкой поступью в эти края шёл долгожданный июнь – «мучун», как говорят эвенки, «месяц зелени». Южный ветер на широких крыльях притащил тепло. Берега, задубелые за зиму, наконец-то шумно, радостно разделись, подставляя солнцу костлявые бока. Из-под снега проклюнулся выставший зелёный багульник. Объявилась нежная брусника. Показалась грушанка. На моховых болотах распушились кисточки пушицы. В тундре одними из первых зазывно зацвели, запыльхали, озаряя сумрак, полярные маки. Навстречу куропаткам потянулась – бледная пока что – куропаточья трава. И день, и ночь в природе происходило привычное как будто, но вечно таинственное преображение. Заневестились береговые ивы и ольховники, источая головокружительный бражный дух. Заскорuzлый кустарник разжал «кулачки» – показал первый лист, как драгоценный изумруд. А



в сердцевине листа робко дрожала и пульсировала росинка, впитавшая в себя частицу мироздания. Росинка затряслась и на мгновение помутнела – в ней отразился промелькнувший вертолет.

Округа наполнилась дрожью. Росинка покатилась по хребту согнувшегося тёмного стебля – капнула на землю и пропала.

Вертушка затихла на гранитной площадке – словно большой апельсин с неба на нитке спустился на землю.

Охотник с парнем посидели на дорожку. Покурили. Тиморей вздохнул.

– Спасибо, Северьяныч, за приют. Хорошо здесь. – Он поднялся. – Так хорошо – не улетал бы никуда.

– Дак оставайся.

– Рад бы, но не могу. Надо ещё на Валдай. На родину.

– Куда? – Храбореев то ли удивился, то ли насторожился. – Так ты на Валдае живешь?

– На Валдае. Возле Селигера.

Дед-Борей внимательно посмотрел на него.

– А ты же сказал – в Ленинграде.

– Валдай – моя родина. А Ленинград... – Парень пожал плечами. – Я недавно туда перебрался. Думаю вступить в Союз художников... Ну, ладно. Пора, Северьяныч.

– Погоди, посиди! – Храбореев странно заволновался. Верхней губой попробовал до носа дотянуться. – Сынок, ты это... Кха-кха... Летчики наши, молодчики, они сейчас на

озеро пойдут, рыбки половят... Время есть. Ты, сынок, присядь, ты Расскажи...

– А чего рассказывать?

– Да вот хотя бы... Кха-кха... Давно ты живёшь на Валдае?

– Я там родился, – ответил парень, с недоумением наблюдая за суетой охотника. До этой минуты Северьяныч держался чинно, степенно.

– А мамка твоя... – расспрашивал охотник. – Где мамка-то? Чем занимается?

Парень опустил глаза.

– Нету мамки... – сказал через силу. – Погибла.

– То есть как – погибла?

– Авария была на Селигере. На рыбном заводе...

– Ой, ё-ё... – Дед – Борей покачал головой. – Как же так?

– А так... Дело житейское... – Тиморей нахмурился. – Ну, мне пора...

– погоди! А мамку-то... Как звали мамку?

– Любовь Тимофеевна.

Ресницы охотника дрогнули. Он изменился в лице. Побледнел. Но парень этой перемены не заметил, направляясь к выходу, – дверь в избушке была открыта.

Гранитный широкий «блин» – каменная площадка – находилась неподалеку от зимовья. Вертолетчики на этот раз спешили. Командир стоял около раскрытой двери, напряженно смотрел на пассажира, на Деда-Борея.

Они обнялись. Храбореев отодвинулся от парня, но руки не разжал. Крепко вцепившись в плечи художника, Дед-Борей внимательно рассматривал его. Парень смутился отчего-то.

Мастаков не выдержал. Поторопил.

– Мужики! Время – деньги! Всё, Дед-Борей! Не болей!

Вертушка оторвала резиновые лапы от земли и устремилась к перевалу.

Расплющивая нос о крепкое стекло иллюминатора, Тиморей оглянулся, подумал: «Странный Дед-Борей... Что-то мы с ним, кажется, не договорили...»

Тиморей совсем забыл – среди новых своих впечатлений – забыл ту первую минуту, когда он увидел охотника, и душу опалило странное волнение. Ему показалось тогда, что они уже где-то встречались.

И вот теперь на сердце Северьяныча было примерно такое же странное чувство.

## 12

Спичечную коробку-избушку трудно уже было рассмотреть на берегу. И озеро уменьшалось с каждой секундой. Драгоценным алмазом чистейшей воды озеро блеснуло в гигантских каменных ладонях и пропало...

Выструнивая взгляд, художник залюбовался громадами гор с белоснежными тульями, с голубовато-серебристыми

прожилками ручьев и рек. Справа небольшой водопад стро-гал серебро и разбрасывал кучерявую стружку под ноги тём-ного утеса. Слева, на полянах и пригорках, промелькнуло живое пламя полярных маков, чудом затепленных на веч-ной мерзлоте. И там и тут на глаза попадались необъятные чёрные кратеры с могучими забоями снега в пыльных разво-дьях, напоминающих открытые залежи мрамора.

Сердце ломило восторгом, и парень с благодарностью по-ворачивался в сторону открытой кабины; Мастаков специ-ально давал кругалья в небесах, чтобы гость имел редчайшую возможность заглянуть за синий край планеты. А потом ко-мандир пригласил Тиморея в кабину – полюбоваться бес-крайней панорамой Крайнего Севера.

– Тимоха! – улыбался командир. – Знающие люди, побы-вавшие за границами, говорят, что канадская Ниагара и аме-риканский Гранд-Каньон – бледная подделка под красоты здешних мест.

– Охотно верю на слово, – ответил художник, восторжен-но цокнув языком. – Хотя не отказался бы слетать туда, срав-нить одно с другим...

– У тебя всё впереди, – заверил командир. – Слетаешь, Тимка!

– Хорошо бы.

Мастаков, стараясь быть серьёзным, подмигнул.

– Ты почему сегодня без парашюта?

Они расхохотались.

– Да-а, разыграли вы меня! Как по нотам! – обескуражено покрутил головой Тиморей.

– Ты уж извини. С новичками это здесь бывает...

– Да ладно, что я, шуток не понимаю.

Покинув кабину пилотов, Тиморей задумчиво уставился в иллюминатор. И снова, и снова почему-то вспоминались последние минуты расставания с Дедом-Бореем. «Странно, почему он так сильно разволновался перед прощанием? Прямо как отец родной!» – шутливо подумал художник, ещё не понимая, что это – единственно верный ответ.

Какое-то время летели ровно – размеренный гул убаюкивал, и Тиморей уже стал забываться, проваливаться в забытьё. И тут неподалёку что-то заскрежетало, заставляя открыть глаза – пустая канистра пробежала по полу и стукнулась об ноги художника.

Вертолёт, разворачиваясь, накренился, и Тиморея прижал к холодной обшивке. Беззвучно засмеявшись, он подумал: «Если человек чужак – это надолго!»

Опять они зависли над белогривым речным перекатом, выбирая перекат покруче, потому что чем сильнее перепад воды, тем крупнее рыба, которая идёт на штурм переката – это проверено.

И опять Абросим Алексеевич, открывши дверцу и рискуя вывалиться, азартно закинул блесну и через минуту выдернул «из воздуха» шикарного тайменя, на голове у которого полыхнула царская корона – так показалось.

– Отпустил бы ты её! – попросил художник, перекрывая грохот мотора. – Царевна-рыба всё-таки. Пускай себе живёт...

– А что? – неожиданно согласился лётчик, бросая в небеса увесистую рыбину. – Пускай летает! Я сегодня добрый!

Сколько лет прошло с тех пор, а всё перед глазами, как живой, трепещется тот сказочный «летающий» таймень, цветёт подобьем радуги, горит, переливается роскошью полярного сияния...

# Путешествие к сердцу

## 1

И наконец-то он вступил в Союз художников в Ленинграде, получил мастерскую. Были выставки, хорошие заказы. Тиморей вздохнул свободно. Перестал малевать «натюрморды» – пресловутые портреты передовиков социалистического соревнования. Много времени посвящал работе над «Красной книгой». Запланировал командировки – едва ли не по всему Советскому Союзу.

В середине августа 1991 года он путешествовал по горам Памира. Наслаждался. Помнится, так неохота было спускаться с небес на землю. Вечером стоял на «крыше мира», с грустью солнце провожал. Душа как будто чуяла: это не прощание с горами – прощание с вершинами эпохи.

А потом началась камарилья!

Свобода, хлынувшая на Россию, напоминала свободу ветра и весёлую пьяную волю штормящего житейского моря. Паруса трещали, ломались мачты. Корабли, сбитые с курса, садились на мель, разбивались о камни. Старых маяков, советских, не осталось, а новые светили скверно: то электричества не было, то ещё какой-нибудь холеры.

У Тиморея Дорогина голова пошла кругом от житейского

шторма. Он с трудом воспринимал происходящее. Привычные, стандартные понятия и представления в одночасье рухнули. Краски на палитре жизни так вдохновенно перемешались, словно за работу взялся сумасшедший гений. Чёрное – стало белым. Белое – чёрным. Бездарность и пошлость – внезапно оказались в первых рядах. Всё искусство в России вдруг стало в «постельных» тонах. Что за бред? Без поллитры не понять такой палитры. И он сорвался. Упал на дно ужасного запоя. Один. Зимой. Что было, господи, и вспоминать не хочется...

Спасло только то, что веревка оказалась гнилая. Петля оборвалась. Когда прочухался, пришёл в сознание – светило утреннее солнце. Райские птички пиликали, а над головой архангелы летали в лазоревом небе; потолок в мастерской был расписан. Облака сияли позолотой. Он лежал, блаженно улыбался, не узнавая своей мастерской – после шока. Закрыв глаза, руки скрестил на груди и заслушался. Божественная музыка звучала – мелодия Вивальди. Играл магнитофон, который он включил, когда в петлю полез; умирать, так с музыкой.

Мелодия закончилась, и несчастный Тиморей «вернулся» на грешную землю. Ржавая вода из крана капала. На столе мерцала недопитая бутылка. Руки и ноги дрожали от нервного перенапряжения. Пришлось идти на четвереньках. Зацепился подбородком за край стола. Поднялся. На столе – среди «художественного беспорядка» – хрустальная рюмка.



Большая, декоративная. Тиморей налил в неё – хотел опохмелиться.

И вдруг увидел мальчика. Махонький, словно игрушечный мальчик в рюмке стоял – по пояс в водке. Малюсенький, лобастый. Личико – мудрое не по годам. В белой рубаше. Ручонки раскинул крестом, пальчики сделал перстом...

– Папка! Не пей!

Он вздрогнул.

– А кто ты?

– Сын твой.

– Врешь. Нет сына у меня!

– Есть.

– Что-то я не припомню греха за собой. Ты откуда?

– Из будущего.

– Шутишь, милый? Выйди. Ты же промок. Простудишься. Это последняя рюмка.

– Папка! Не пей!

– А ну-ка! Прочь с дороги!

Художник руку протянул. И тут его пронзило резкой болью. Рука заболела в плечевом суставе, занемела.

Тиморей зажмурился. Сел на табуретку, заляпанную засохшей краской. Подождал, когда в плече пройдёт. Встал, покружился по мастерской. Покосился на рюмку. Наваждение пропало, а вместе с ним пропало почему-то жгучее желание опохмелиться.

Церковь стояла неподалеку. Тиморей слышал колоколь-

ный перезвон и перешел через дорогу. В церкви, не зная, куда приткнуться, он бесцельно походил, походил и остановился возле иконы «Неупиваемая чаша». (Он даже названия тогда ещё не знал). Мальчик, знакомый малый в белой рубашке – руки крестом, а пальчики перстом – стоял по пояс в рюмке и умоляюще смотрел на Тиморея.

Художник опустился на колени перед «Неупиваемой чашей». Утреннее солнце полосой лежало на полу, ещё влажноватом после уборки. Узкий луч, удлиняясь, подползал к нему – живое лучистое золото коснулось коленей, груди. Нежно согревая, солнечный свет заполнил душу, сердце отогрел. Губы задрожали, и Тиморей заплакал, ладонями прижимая солнышко к груди.

Дома – в течение нескольких дней – художник на трезвую голову обдумывал своё житьё-бытьё. Что делать? Как на хлеб зарабатывать? И так и эдак примерялся к новой жизни, но ничего толкового не мог измыслить.

Затрещал телефон.

– Старик! Здорово!

– Кто это?

– Не узнаешь? Богатый буду. Это Лёня... Леон Простакутов. Дело есть. Нужно портрет написать. Натюрморду, как ты говоришь. Только быстро. Сможешь? Ты свободен? Как птица в полете? Прекрасно. Встречаемся через сорок минут у памятника Петру Первому. Если, конечно, его не украли ещё. Сегодня цветные металлы в цене... Ха-ха-ха...

Журналист Леон Простакутов жил в Москве, порою появлялся в Ленинграде. Давно, ещё во времена Советского Союза, журналист подошёл к Тиморею на выставке: понравились работы. Простакутов даже «забойную» заметку нацарапал в газете. Встречались они эпизодически, а потом – после развала Союза – вообще несколько лет не виделись.

Леон забурел, располнел, и что-то у него с глазами сделалось. Как будто их заморозили. Такие глаза бывают у манекена – смотришь, и неприятно делается: ни света, ни приветя не находишь.

– Операция была, не совсем удачная, – объяснил Простакутов, подслеповато помаргивая. – Я вижу теперь хорошо только деньги. И в основном в американских долларах! – Леон расхохотался.

Весёлый он был человек. Предприимчивый. В советское время он делал «деньги из воздуха» – писал разгромные статьи об экологии, о чистом воздухе, необходимом... как воздух. Солидные были статьи, капитальные. Его даже побаивались: он мог с дерьмом смешать любого нерадивого директора завода или фабрики. Но теперь с журналистикой было покончено – неприбыльное дело. Простакутов занимался каким-то бизнесом. Золотые перстни блестели на руках. Зуб золотой горел, когда он ухмылялся. Чёрные кудряшки посе-

дели и наполовину скатились с головы. Обнажился крупный, отполированный череп. И в черепе том – костяном котелке – варились гениальные идеи.

Леон показал фотографию какого-то военного. (Полковник Ходидуб). Попросил сделать портрет. С фотографии всегда делать сложнее, чем с натуры; Леон хорошо заплатил, и они разбежались посреди Петербурга – бизнесмен торопился.

Позднее, примерно через полгода, Простакутов снова позвонил и снова попросил намалевать какого-то хмыря из серии «их разыскивает милиция». Дела у Простакутова двигались, похоже, в гору. Он ещё сильнее забурел, закабанел.

– Старик! – рассказывал Леон. – Знаешь, зачем я тогда приезжал? Нужно было договориться с вашими властями насчёт покупки одной старой железной крыши...

– А зачем тебе старая крыша?

– Ты не дослушал, старик. Собрался купить я старую железную крышу, сорванную с дома, находившегося неподалеку от Монетного двора.

– Ну? И на фига она тебе?

Леон загадочно улыбался.

– Старичок, ты не слышал главного. Крыша находилась неподалеку от Монетного двора. – Простакутов закурил дорогую сигару. – Не усёк? И власти ваши, олухи царя небесного, тоже ни чёрта не просекли. Они когда слышали, сколько денег им предлагают за покупку старой крыши, подумали,

наверно, что у меня у самого с «крышей» не в порядке.

– Я тоже так сейчас подумал, – сконфузился Тиморей.

Потирая шаловливые ручонки, предприниматель продолжал.

– Расплавил я ту железную крышу. И добыл полтора килограмма чистого золота.

Художник присвистнул:

– Откуда?

– От верблюда. Из трубы Монетного двора.

– Ничего себе! А как же это?..

– Элементарно. Идея на поверхности лежит. – Леон пыхтел сигарой и наслаждался произведенным эффектом. – Золото – пылинка за пылинкой, год за годом – вместе с дымом вылетало из трубы Монетного двора и оседало на железной крыше.

– Деньги из воздуха!

– Именно так, старичок! – Он похлопал Тиморея по плечу. – Ты же умный парень. Что ж ты не можешь себя найти в современной России?

У Простакутова появились барские нотки в голосе.

– Я не терял себя, – сдержанно ответил Дорогин. – Сегодня часто можно услышать: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» И ты, похоже, это имел в виду, только сказать постеснялся. Знаешь, Леон... Размышляя на эту тему, я пришёл к неожиданному выводу.

– Ну-ка, ну-ка, интересно.

– Умный обязательно будет богатым, а мудрый может позволить себе оставаться бедным, ему хватает мудрости не гнаться за богатством, не тратить душу на пустяки.

Леон помолчал, «переваривая». И неожиданно протянул ему руку – пожал.

– От души, старичок. Молодец! Жалко, что я бросил журналистику, мы бы с тобою побеседовали. Значит, решил не сдаваться? Творить? Как в доброе советское время? С хлеба на квас перебиваться? – Леон ухмыльнулся, мерцая золотом зубов. – Да, старичок, творить – это великое дело. Удачи тебе.

Разговор состоялся года четыре назад. С тех пор не виделись. И уж совсем не ожидал художник, что следы Леона Простакутова обозначатся на северных широтах...

### 3

Сухая заполярная осень широко шумела и цвела – дразнила красными флагами рябин и осин. И старенький обшарпанный вертолёт «дразнил» красными звездами на боках и на пузе. Техника была ещё советская, изношенная; рассыпалась иногда прямо на лету, но денег на покупку новой почему-то не находилось. Зато кругом аэропорта – на стоянках – виднелись дорогие заморские машины. Роскошно одетые дамы и господа ходили – земли под ногами не чуяли. Возле крыльца аэропорта валялись пустые пачки загранич-

ных сигарет, фигурные бутылки из-под виски, джина или рома, произведенных и разлитых в каком-нибудь заплесневелом подвальчике у тёти Дуси.

Оказавшись в полутёмном вертолетном чреве, Тиморей серьёзным голосом попросил парашют, обращаясь к молодому чернокудрому пилоту. Тот посмотрел на него, как на больного.

– Сроду парашютов не было.

– Как это – не было? – настаивал Дорогин. – Я не первый раз лечу. Всегда парашют выдавали.

Подошёл командир. Низкорослый бычок со свалывшейся шерстью на крупной голове.

– В чем дело? – спросил, лениво пожевывая жвачку.

– Да вот... Парашют подавай господину.

– Зачем? – «бычок» нахмурился, переставая жевать.

– А как же вы летаете без парашюта?

Командир внимательно посмотрел на пассажира, заметил дрожащую улыбку и, отворачиваясь, резко бросил на ходу:

– Цирк уехал, клоуны остались!

Тиморей загрустил. Даже неловко стало за свою дешёвенькую шуточку. «Другие времена – другие нравы!» – подумал, вспоминая давний розыгрыш вертолётчиков.

– А где Мастаков? Вы не знаете?

Молодому командиру, видно, было неловко за свою резкость. Он повернулся к художнику.

– Абросим Алексеич укатил в Анапу.

– Насовсем?

– Пока что в отпуск, а через год – насовсем. Он купил домишко на берегу Чёрного моря.

– Понятно. А как там поживает Дед-Борей? Жив, здоров?

– А что ему станется? В воде не горит и не тонет в огне...  
Тьфу! То бишь – наоборот! Вы Мастакова знаете давно?

– Да уж порядочно...

– Тогда вы слышали, наверное, историю о том, как этот Дед-Борей из вертолёта вышел покурить?

– А это разве не анекдот?

– Не знаю. Абросим Алексеич рассказывал. А он мужик серьезный.

– О, да, согласен! – улыбнулся Тиморей. – Знаем мы этих серьезных!

История о том, как Дед-Борей «покурил в небесах», была похожа на анекдот.

## 4

...Охотник обморозился в ту зиму, появились первые признаки гангрены, грозившей руки-ноги отгрызть. Храбровеев по рации вызвал вертолёт и свалился с температурой. Лежал в бреду. Не слышал, как вертушка приземлилась, как пилоты в избушку пришли.

– Дед-Борей! Подъём! – зашумел Мастаков. – Ну и холодрыга у тебя! Волков морозить!



Архангельский, помощник, сказал:

– Командир, он без памяти. И, похоже, давно.

Возле печки стояло ведро с водой. Вода закаменела от мороза. Ведерко лопнуло по шву. Отощавшая собака выла, крутилась в избушке.

– Глянь, командир. Она зубами все косяки соскоблила.

– Плохо дело. Ну-ка, помоги, Архангел!

Подхватили под микитки окоченевшего охотника. Потормошили. Даже не дрогнул ресничкой.

– Может, спирту ему?

– Да как ты ему дашь? Он же... почти готов.

– Вольём, и все дела! А то ведь можем не довести. Руки у него – совсем ледяные.

– Только трупы мы ещё не возили... Ладно, тащи горючку! – приказал командир.

Накатали стакан спирту. Поначалу Дед-Борей чуть не захлебнулся, но скоро пошло как по маслу. Выпил. Расслабленно охнул и на мгновение глаза приоткрыл. Безумным блуждающим взглядом посмотрел перед собой и снова закрылся.

– Оживает!

– Отлично! Берём...

– Командир! А чего мы – ногами вперед?

– Тьфу, и в самом деле! Во, долбаки!

Собака, обычно как огня боявшаяся вертушку, пулей залетела в дверцу и спряталась под сидением. Полетели. Бла-

женно улыбаясь, охотник лежал на каких-то мягких мешках. Спирт разгорелся в жилах, кровь разогнал. А Дед-Борей, когда дерябнет, всегда вспоминает о куреве. Так-то, трезвый, может не курить полмесяца и больше, а уж когда маленько врезал, тут уж надо «в зубы дать, чтобы дым пошел». Натура такая. И вот он – ещё не приходя в сознание, на автопилоте, так сказать, пошарил по карману, где лежала помятая пачка. Открыл глаза, зевнул и, не соображая, где находится, пошёл покурить «на крыльцо».

Абросим Алексеевич потом рассказывал:

– Слышу, какой-то сквозняк. Повернулся... Что такое?! Дверца нараспашку! А высота – метров пятьсот над уровнем моря. И сто метров над перевалом, где пролетали... Всё, думаю, тюрьма! Убился Дед-Борей!

Резко развернув машину, Мастаков пошёл на бреющем полете. А сумерки уже – скоро полярная ночь, темнеет рано. Поискали в полумгле. Ни черта не видно. Прямо над вершиной пролетели – чуть винтом не зацепили.

– Командир! – закричал Эдик Архангельский. – Гляди! Там огонек... Избушка, что ли?

– Здесь не должно быть зимовья. – Мастаков присмотрелся. – Правда, что-то блеснуло... Давай приземлимся.

Вертушка опустилась на голый плоский камень, обдутый ветром. А неподалеку опять огонек замаячил осиновым листом. Они прошли по снегу, проваливаясь то по пояс, то по грудь.

– Эй, кто здесь? – окликнул командир.

– Я... Кха-кха...

– Кто «я»? Вы никого здесь не видели?

– А кого тут увидишь? – сказал человек хриплым голосом. – Темно. Что потеряли-то?

– Груз... – крикнул командир и подумал: «Груз двести».

Пилоты подошли и ахнули. Дед-Борей сидел на берегу заледенелой реки, смолил сигарку. Случилось то, что люди именуют чудом. Траектория полета охотника совпала с наклоном заснеженной горы. Колобком прокатившись по мягкому склону, Храбореев оказался в ущелье. На нём лишь кое-где порвалась одежонка – ни царапины, ни синяка, не говоря уже о переломах. Только в голове прибавилось «туману»: не мог понять, где он находится и почему пилоты радостно ржут и пританцовывают вокруг него:

– Живой? Ну, ты даешь, Дед-Борей! Ты куда сиганул? По нужде, что ль, сходить?

Посмотрев на папиросу, он задумчиво сбил пепелок:

– Покурить захотелось.

Вертолетчики хохотали всю дорогу до города. Но главный смех ждал впереди (и смех, и грех). Около месяца охотник провалялся в больнице. Гангрены удалось избежать; Дед-Борей на радостях вышел из больницы и решил это дело отметить с друзьями. Посидел в ресторане, лишку принял на грудь и, уходя, упал с крыльца – ногу сломал. С той поры маленько припадает при ходьбе, а когда приходится отвечать

на вопросы досужих «туристов», Дед-Борей, не моргнувши глазом, говорит: «С медведем повстречались на узенькой дорожке!»

Анекдотическую эту историю вертолетчики могли бы списать на счастливый случай, редкий случай. Только мешала одна закавыка. В момент падения Северьяныча – если прикинуть по времени – все электронные устройства в кабине дали сильнейший сбой. Как будто вертушка пролетала над большой магнитной аномалией. Погасли щитки приборов, высотомер отключился и даже двигатель будто заглох – тихо стало. И в эти мгновения внезапно появилось странное сияние, длинным золотым ручьем пролившееся над Землей. Что это было? Пилоты лишь руками разводили. А за спиною у них кое-кто болтал про сказочного отрока, на оленях летящего по небу. Дескать, это он помог.

## 5

В районе Полярного круга стояла хрустальная, прозрачная погода. Небо, промытое осенними дождями, казалось близким и необыкновенно голубым. Горы манили своей доступностью: в чистом воздухе они мерещились такими близкими – рукой погладить можно.

Над горами гуси рано пролетели – скоро холода нагрянут, верная примета. Храбореев – особенно по молодости – изумлялся: какие такие приборы и датчики могут стоять в голове

у гуся, так безошибочно чующего непогоду? Она, головенка-то гусиная, с кулак величиной, а вот поди ж ты...

«Древний голос крови, – вспоминались умные речи дядьки Никанора, профессора из Мурманска. – Древний голос, генетическая память... – Северьяныч задумался, глядя на художника. (Тот пошел порыбачить). – А что же мне мой древний голос крови говорит насчет Тимохи? Потолковать с ним? Или уж не надо парня баламутить? Пускай живёт, как жил... Ах, Люба, Люба! Любушка-голубушка. Надо было разыскать её. Голос крови-то мне правильно подсказывал. А теперь уж поздно. Если Тимка сам не заикнётся, я ничего не стану говорить... Прошное ворошить ни к чему!»

Храбореев сунул руку за пазуху. Достал небольшой потёртый колокольчик. Позвенел под ухом. Разволновался и попробовал верхней губой до носа дотянуться. И вдруг почувствовал сильное сердцебиение, головокружение – разволновался. «Вот так подохнешь! – затосковал. – И схоронить будет некому...»

Он вышел на свежий воздух.

Тиморей сидел на берегу, неподалеку от зимовья.

– Сынок! Иди, чайку попей!

Слово «сынок» Храбореев произносил теперь как-то особенно. Многих в своей жизни называл он этим ласковым словом – сынок. Но это было походя, примерно так же, как люди говорят друг другу: «брат», «сестра», земляк». Теперь для него это слово звенело совсем по-другому – золотым валдай-

ским колокольчиком.

Он подошел к художнику.

– Малюешь? А я думал, ты рыбалишь тут. Ничего, если я постою, посмотрю?

Парень улыбнулся.

– Мы за смотрины денег не берем. Не жалко.

Помолчав, Храбореев сказал удивленно:

– Ловко получается. Картинка, можно сказать, из ничего, из воздуха...

– Ну, что ты, Северьяныч! Мне далеко до них!

– До кого?

– До мужиков, которые могут деньги из воздуха делать.

Покачав головой, Храбореев уверенно ответил:

– Нет, сынок! Это им до тебя далеко. Я раньше тоже думал: «деньги, деньги...» Но дело не в деньгах...

– А в чём же дело, батя? В чём, как говорится, корень бытия?

Под сердцем охотника – будто чиркнула пуля. «Батя». Художник произнёс это легко. Играючи. Северьянычу даже стало немного обидно...

– Корень жизни, говоришь, сынок? Это как посмотреть на неё, на житуху. Пойдём. А то руки, гляжу, посинели.

В зимовье потрескивала печь. Сидели, пили чай и говорили обо всём на свете. Искали «корень жизни». Антону Северьянычу было хорошо такими вечерами. Выходя из зимовья, он смотрел на небо и крестился, благодарил всевышнего за

ту несказанную радость, какая была на душе.

Стужа приходила по утрам. Ножевыми ветрами разодранное пространство кто-то пытался штопать белыми нитками – редкие снежинки мелькали косыми стежками. Первые льдины зарождались в верховьях и с перезвоном высыпались из речного рукава, блестели в широком устье. И на озере уже припаивались робкие забереги. Утром выйдешь умыться, разобьёшь лазурную стекляшку. Руки сунешь – будто в костер. Обжигает водичка. Постоишь на берегу и улыбнешься. Красота! Заморозки покрошили комара и гнуса, – не докучает колючая тварь... Давненько Тиморей мечтал вот так-то душу отвести, с удочкой посидеть на берегу или просто побродить, вдыхая аромат сгоревшей осени, любуясь небом, горами, буровато-желтым листарём, струящимся по реке. Он собирал горстями, ел фиолетовую горьковато-сладкую голу-бику, пришибленную морозцем. Рвал кисточки яркой смородины – стылым горошком таяла во рту. Среди моха и лишайников собирал морошку, пугая куропаток.

В эти дни Храбореев далеко не отлучался от зимовья. То и дело подходил к Тиморею. Что-нибудь рассказывал, показывал.

– Гляжу, морошку лопаешь, – сказал охотник, глазами показывая на дальний берег. – На Тайгаыре, вон там, морошки было раньше – завались. Куропатка жировала, как барыня. Наклюется, бывало... Слышь, сынок! Не поверишь! Куропатка, бывало, так наклюкается, что её, беднягу, шатает.

И взлететь не может. Ей-богу. Ягоды полное брюхо. – Северьяныч посмеивался. – Я голыми руками их ловил по молодости.

## 6

Вечером опять сидели в зимовье. Душевно беседовали. Северьяныч расспрашивал художника:

– Ты, сынок, не женатый? Нет? Ну, это успеется. А как там житуха у вас, в Ленинграде?

– Да так же, как в Петербурге, – улыбнулся Дорогин.

– Картинками питаешься? Или чем другим на жизнь зарабатываешь?

– Картинками. Нарисую маслом... салом иногда рисую... Вкусные картинки получаются. – Парень вздохнул. – А ты здесь, батя, как? После развала нашей великой державы?

Охотник прислушивался. Слово «батя» сегодня художник снова походя сказал. Но появился в нём, в этом слове, какой-то неуловимый оттенок. Более теплый, что ли. Более родной. Или так уж показалось Храборееву.

– Да мне-то что, сынок. Тайга и тундра всегда прокормит, только не ленись. Мне – хоть белые, хоть красные у власти, хоть серо-буро-малиновые с прописью... Смешно, сынок, за ними наблюдать. Прыгают как блохи на арене.

– Я тебе, Северьяныч, завидую. Может, и мне попробовать? Послать всё подальше, уйти сюда – рыбачить да охо-



титься. Что скажешь?

– Давай. Места хватит. Поставим зимовье... да хоть вон там, на берегу. Сиди, малюй себе... Делай картинки из воздуха. – Храбореев поцарапал шрам возле виска.

Зоркие глаза художника заметили:

– Раньше, кажется, не было этого шрама. А, батя?

– Не было, – неохотно сказал Северьяныч. – Свежая зарубка. На память об одном человеке... Его и человеком-то не назовешь, прости, Господи. – Охотник перекрестился, глядя куда-то вдаль. Тихо добавил: – А ведь я кормил его, как малое дитё. С ладошки...

– Ты про кого говоришь, Северьяныч?

– Был тут один... Проститутов... Жульёрист окаянный.

Художник вскинул кисточки бровей.

– Проститутов? Или – Простакутов?

– Хрен его знает. В паспорт не заглядывал.

– А звали как? Леон?

– Миллион, ага. Только цена ему – рупь. Он тогда на Север прилетел деньги из воздуха делать, как он сам говорил. В Норильске, сам знаешь, бывает – не продохнешь от газа. Вот он писал про это дело. А уж потом, когда развалили Советский Союз, он, как змей подколодный, извернулся, начал в Москве промышлять золотишком. Ну и до меня добрался... по старой памяти...

– А ты при чём?

– А я, сынок, при нём. При золоте... Ты не смотри, что

я драный такой. Штаны с заплатками... Если хочешь знать, так я – Царь-Север...

Храбореев хохотнул.

Художник уже знал, что Северьяныч – маленько того... с причудами. Поэтому не удивился.

– Загадками какими-то, батя, говоришь.

Охотник полено подбросил в печь. Покурил.

– Расскажу как-нибудь. А пока давай на боковую... Значит, ни хрена тебе не плотют за твои картинки?

– Нет, почему же? Хрен да маленько платят.

– А вот эта книга, про которую ты сказал: «Смотришь в книгу. А видишь фигу».

– Красная книга.

– Ну, да. Ты для нее сейчас малюешь. Так я понял? А что потом? Печатают? Книги-то?

– С грехом пополам. Денег нет, Северьяныч. На всякую дребедень – на чернуху да на порнуху – всегда найдётся, а на что-нибудь доброе... Эх! Да что говорить!

– Ладно, спим. – Храбореев погасил керосинку. Заворочался на дощатых нарах. – А ты что-нибудь слышал про ураганное золото?

– Так, немного. А что?

– Ничего. Спи, сынок.

Тайга и тундра становились гулкими. Где-то в туманах на том озерном берегу временами слышался грозный гул и топот, похожий на отдаленный обвал, на приглушенный говор камнепада. Тиморей вначале недоумевал: что это может быть? Потом «дошло». Там, в полумраке северного куцега дня, шумел и кровью зацветал вековечно повторяющийся праздник плоти и дерзкого духа. Дикий северный олень выходил на знакомые, хорошо утоптаные тропы. Олени собирались в тучи, полные грома и страстных молний. Могучие быки жадно и властно разбивали косяки покорных самок на отдельные гаремы. Зорко и трепетно стерегли своих наложниц. Караулили ревниво, яростно, на время буйных свадеб напрочь забывая сон, жратву, питье и утрачивая спасительное чувство самосохранения.

Наступало «время волка». Еще недавно серые эти щенки были безобидными, беззубыми, и человек даже мог бы с ними спокойно поиграть – если, конечно, рядом нет мамыши. Но это – вчера. А сегодня – окрепли волки, вызвелились, и уже самостоятельно учатся в потемках шастать по чернотропам. Волки ищут добычу и целенаправленно гонят её, подчиняясь неведомой силе инстинкта и, делая коронный свой прыжок под горло, безжалостно режут и рвут беззащитную плоть, как делали их серые отцы, деды и прадеды. С диким

азартом и страшной страстью, кипящей в сердцах, молодые разбойники чуткими ноздрями припадают к таинственному воздуху тайги и тундры, прислушиваются и воровски приближаются к жертве, чуткой «бархатной» лапой стараясь не наступить на ветку, не раздавить предательский сучок. Но в эту пору к оленям приближаться небезопасно. Любовью раскаленный, по-богатырски мощный северный самец – любому волку намылит холку. Но голод не даёт стоять на месте, голод лишает рассудочности – подталкивает хищника к большому, теплому стаду, укрывшемуся в туманах, теребящихся откуда-то со стороны Медвежьей реки.

Охотник говорил:

– И волка нынче много. И оленя – пруд пруди...

Тиморей спросил:

– Тут, неподалеку, слышал я, идет забой оленя?

– Иде-е-т... Ты что хотел? Мяска?

– Нет. Просто посмотреть.

– Нашел на что смотреть! – вздохнул Северьяныч. – Забой оленя – это километров сто отсюда. Если на моторе дунуть вверх по реке, потом налево, потом направо...

– Потом немного волоком, потом чуть-чуть по воздуху! – засмеялся Тиморей. – Понятно. Очень близко. По вашим меркам... А ты, Северьяныч, говорят, вообще не бьешь оленя?

– По молодости кровушки хлебнул на том отстреле. До сих пор изжога!

...Год за годом, век за веком через Пясину проходят пути миграции северного дикого оленя. Зная это, люди из заготконторы заблаговременно готовили «десант». На исходе лета по берегам реки – в определенных местах – высаживались бригады, состоявшие из вербованных мужиков. Крепкие люди. Волевые. Толстокожие. С утра до вечера на берегу взвизгивали бензопилы. Дятлами постукивали молотки. В дерево вгрызался острозубый топор. Мужики – для самих себя – варганили времянки. Долбили морозильники в вечной мерзлоте. Сколачивали грубые тесовые помосты для разделки оленьих туш. Поднимали навесы от дождя. Завозили продовольствие, бочки с бензином для моторок. И много чего другого, необходимого для забоя и сохранности мяса.

...Вожак рано утром забрался на взгорок. Влажными ноздрями процедил прохладный воздух. Задумчиво посмотрел на изломанную линию горизонта.

На тундровых просторах догорало коротенькое северное лето, кущее – как хвост оленя. Август уже горячо подрумянивал щеки осинам. Желтизною тронуло березы, лиственницы. День за днем в тундре исчезали гнусавые кровопийцы. Появлялись вкусные грибы – лезли прямо из-под копыт, сами заглядывали оленю в рот. Житуха становилась – лучше некуда. Стужа еще далеко – за горами таится. Еще не пожух-

ла трава, опаленная первыми утренниками, после чего она становится похожа на проволоку. Мох не огрубел от холода. Еще не застеклялись мелкие ручьи, не говоря о крупных. Казалось бы, живи и наслаждайся тут, среди еды, простора и покоя. Но нет, что-то заставляло вожака волноваться и думать: «Пора!»

И опять он чуткими ноздрями процеживал раноутренний воздух. И улавливал в нем слабые токи, бьющие по сердцу. Это – древний, вековечный зов. И с каждым днем тот зов становился все громче, внятней. И наступало утро, когда вожак в последний раз поднимался на каменный взгорок. Долго смотрел на зацветающую зарю и принимал нелегкое мужицкое решение: покидать привольный летний выгул, вести за собою многочисленный олений караван, нацеливаясь на юго-восток, на лесные пастбища Якутии и Эвенкии. Трудная будет дорога. Опасная. На пути оленей встретится немало озер, болот, оврагов. По горам пройдут, на рога наматывая пряжу туманов и облаков, обходя горячие осколки звезд, недавно разбившихся на перевале. Веселыми зелеными долинами протопают. И спустятся в такие угрюмые низины, куда солнце не может или не хочет заглядывать. Там, в звенящем затишке, в голубоватой затени повстречаются первые льдинки. Слюдяные пластины слоются, нарастая друг на друга и твердея день ото дня, превращаясь в крепкую корку. Там роса твердеет по ночам – картечиной блестит. Там по следу бегут кровожадные волки – щетиной топорщатся холки. И

кто-то слабый рухнет, окрасит землю кровью перерезанного горла. Таков закон природы – слабаков не должно быть. А сильные дальше пойдут, оставляя за собой десятки и сотни всевозможных преград.

И наконец-то оленье стадо выйдет – как на плаху – на берег Пясины.

И кто-то первый из мужиков обрадуется, глядя в бинокль:  
– Идут!

И старший хладнокровно скажет:  
– По местам, ребята.

## 9

Чёрт его дёрнул в тот год – согласился быть стрелком на забое. В напарники к нему определился некто Берлогов по прозвищу Трубадурик, мужик молодой, но от страха седой, с покалеченными пальцами на обеих руках.

Перед восходом солнца они забрались на свой наблюдательный пост – голый крутолобый мыс, выдающийся в реку. Храбореев, скучая, смолил папиросы, крутил колесико бинокля: окулярами шарил по дальнему берегу, утопающему в пуховом тумане, похожем на олений подшерсток. Зевали. Терпеливо ждали. Тело «дрожжами» наполнялось – прохлада час за часом въедалась в кожу, в кости. Костерок бы развести, да нельзя. Оленя отпугнешь.

Небо сочно посинело над горами, вершины подкрасились

кровинкою первых лучей. Видимость улучшилась. И Северьяныч заволновался, шмыгая носом на ветру.

– Вон они, сынок! Нарисовались!

– А ну-ка дай, папаша, – Трубадурик взял бинокль.

С пологого берега стадо сплывало, напоминая остывающую лаву стального цвета. До слуха долетели слабые звуки затрещавших веток, застучали камни, задеваемые копытами.

– Куда они поперли? Там неудобница, – недоумевал Храбореев.

Его напарник не первый год мотористом ходил на забой.

– Стадо, – поучительно сказал он, сплевывая, – переплывает реку не там, где удобней, а там, где моча ударит в голову передовому оленю. Обычно это бывает важенка.

Похоже, моторист не врал. Важенка шла впереди. Не шла – заполошно рысила, оторвавшись от стада метров на тридцать и не оглядываясь даже на своего теленка: тот спотыкался, отставая, падал, не поспевая за мамкой. И так же, как телята, покорно спешили за важенкой гривастые, огромные быки.

Северьяныч снова покрутил колесико бинокля. Рассматривал стадо. У многих быков на рогах тряпками болтались окровавленные лоскутья кожи, содранные ветками деревьев...

Храбореев цокнул языком:

– Эх! Какие классные рога!



– Панты. – Напарник уродливые пальцы расставил «вее-ром». – Мягкие панты, наполненные кровью. Ценная вещь!

Позднее эти рога могли бы очиститься от кожи, затвердеть в железо, а еще позднее отвалились бы, уступая место новым; чем старше бык, тем круче и мощнее вырастают и ветвятся у него рога; но этому, увы, не суждено случиться.

– Трубадурик, ты готов?

– Как юный пионер.

– Во, дурная какая, – прошептал Северьяныч, не отрываясь от бинокля. – Куда она лезет?

– Да она ж не видит ни черта.

– В очках надо ходить...

Прямо перед важенкой было превосходное место для переправы – мимо пробежала сослепу. Остановилась возле невысокого обрыва. Прошла по каменистому карнизу, отвесно отколотому в реку. Понюхала под ногами – и живой торпедой бросилась в воду. Стадо – за ней. Поперли как полоумные. Серыми комками повалились в воду и поплыли, тараня друг друга. Задние ряды смешались, со скрежетом и скрипом втапывая камни в грязь и перебаламучивая заводь. А передние олени, отдуваясь от волны, шумно сопели, раздувая ноздри, хоркали, выкругляя влажные зрачки, в которых отражалась кровавая капля встающего солнца.

Что-то древнее, вечное мерещилось в этой картине: горы, небо, упавшее в реку, и олени, словно плывущие по небесам. И охотник поддался непонятному, грустному чувству. «При-

мерно так же, — подумал он, — олени стада переплывали эту реку и сто, и двести лет назад. И точно так же будут переплывать потом, когда на земле не останется даже памяти ни обо мне, несчастном стрелке, ни об этом культяпом придурке. Какого черта я согласился?!»

Храбореев пошевелил оружием.

— Не вздумай стрелять! — предупредил Трубадурик. — В копытах у оленей железа такая есть... «железою страха» называется.

— Знаю. Не читай ликбез.

— Что ты знаешь?

— Подыхающий олень оставляет метку на земле, и другие олени сюда уже не сунутся года два или три.

И ему вдруг захотелось выстрелить. Пускай олень пометит «железою страха» этот берег, чтобы завтра сотни и тысячи других собратьев уцелели. Надо же, как мудро все устроено в природе...

Головные олени уже доплывали до середины реки. Многочисленное рогатое стадо напоминало затонувший, от корней оторвавшийся лес, самосплавом двигавшийся к туманному противоположному берегу.

— Ну, все! По коням! — Культияпыми пальцами без ногтей Трубадурик поддернул бродни и, покинув укрытие, проворно сиганул в моторку. Намотал промасленный заводной шнурок. Дернул — нет. И снова намотал. И снова с силой дернул. Старенький «Вихрь» слабо кашлянул, пукнул дымком,

но не завелся.

– Всегда вот так! В самый неподходящий момент или шпонку срежет... или понос! – моторист ругался, подкручивая какую-то мазутную гайку. – Начальство такие деньги огребает на забоях, а на технику, падла, жалеют...

– Не спеши, сынок!

– Потом будет поздно, папаша! Мы же с тобою почти од-  
ногодки. Чего ты заладил: «сынок» да «сынок»...

– Бьют не по годам, сынок, по ребрам.

– Да пошел ты! – Трубадурик разозлился, косясь на оле-  
ней. – Уйдут, заразы!

– А ну-ка, дай, культяпый... Я мотор попробую...

– Сиди. Управлюсь.

– Ну и враг с тобой. Пускай уходят.

Кусая губу, Трубадурик с новой силой и остервенением рванул шнурок, будто не мотор, а самого себя заводил для похода на «мокрое дело», как говорил Шышаев, бригадир по прозвищу Шышак, пять лет отбарабанивший в северных зонах строгого режима.

– Ну, что ты, стерва? – Трубадурик завел-таки мотор. И в тот же миг, как по команде, взревел второй мотор – в кустах неподалеку. И третий, и четвертый...

Испуганный заяц шарахнулся от высокого берега, роняя камешки в воду. Какая-то птица, вереща, по-над землей расстелилась, улепетывая подальше от воню и грома.

– Опередили, в рот компот! – хохотнул Трубадурик. – Ду-

мал, первым пойду...

Распуская длинные «усы» вдоль скуластого носа, самая проворная моторка вырвалась из укрытия, но вскоре движок поутих. Догоняя стадо, моторист перешел на самый малый ход. Стрелок, глыбой возвышаясь над моторкой, широко расставив ноги, прицелился и дробовым зарядом шарахнул по затылку плывущего оленя. Близко было до цели, два-три метра. Темная кровь ударила фонтаном по моторке и конопушками подкрасила хищную харю стрелка. Отстрелянная гильза полетела под ноги, зашипела на мокром днище.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.